



Светлана
СЕМЕНОВА

ФИЛОСОФ
БУДУЩЕГО ВЕКА
**НИКОЛАИ
ФЕДОРОВ**

УДК 1(091) (47+57)
ББК 87.3(2)1
С30

Художник В. В. Покатов

Семенова С.Г.

С30 **Философ будущего века: Николай Федоров.** – М.: Пашков дом, 2004. – 584 с.: ил.
ISBN 5-7510-0284-9

Книга известного философа и писателя, доктора филологических наук С. Г. Семеновой посвящена выдающемуся отечественному мыслителю Николаю Федоровичу Федорову (1829–1903), идеи которого лежат у истоков как русского религиозно-философского подъема конца XIX – начала XX в., так и активно-эволюционной, ноосферной мысли XX в. В книге на обширном материале, включая архивные и малоизвестные источники, представлены жизнь и деятельность легендарного библиотекаря Румянцевского музея, «Московского Сократа», его духовный диалог с великими современниками – Ф. М. Достоевским, Л. Н. Толстым, В. С. Соловьевым, общественные и культурные инициативы мыслителя. Подробно рассматриваются философские, богословские, этические, эстетические взгляды Федорова, его понимание смысла и назначения истории, концепция «имманентного воскресения», отношение к мировым философским системам (Канту, Гегелю, Шопенгауэру, Ницше), к славянофильской традиции. Отдельный раздел посвящен судьбе идей философа всеобщего дела в мысли и культуре XIX–XX вв., их значению в контексте современности.

Книга адресована историкам философии и литературы, преподавателям и студентам, а также широкому читателю, интересующемуся отечественной и мировой мыслью и культурой.

УДК 1(091) (47+57)
ББК 87.3(2)1

ISBN 5-7510-0284-9

© Семенова С.Г., 2004
© Покатов В.В., художественное оформление, 2004
© Российская государственная библиотека,
издательство «Пашков дом», 2004

Глава I

ДОМОСКОВСКИЙ ПЕРИОД



Документально точные сведения о жизни Николая Федоровича Федорова, особенно первой ее половины, достаточно скудны. Характеристики его личности, оставленные знавшими его по работе в библиотеке Румянцевского музея, некоторыми его почитателями и прежде всего двумя учениками и посмертными издателями его трудов – Владимиром Александровичем Кожевниковым и Николаем Павловичем Петерсоном, – рисуют один и тот же цельный образ труженика, подвижника и аскета. Некоторая легендарная клишированность в отражении его жизненно-духовного облика, показательный набор эпизодов его биографии, переходящих из воспоминания в воспоминание, в известной степени оправдывают высказывание о том, что Федоров – единственный или один из немногих – философ не с жизнью, а с житием.

Изумляющие черты его личности и образа жизни, само его учение, расплывшееся по преимуществу устно в узком кругу его друзей, загадочность биографических истоков, скудость реальных знаний о жизни Федорова – все это неудержимо влекло почти всех писавших о нем в сюжетные схемы житийного повествования, причем сам он облакался именем «святого», «старца», «учителя», «Московского Сократа» и т. д. Как и в традиционном жанре жития, наиболее разработанные эпизоды его существования приходятся уже на период собственно подвижничества и духовных подвигов. (Для Федорова это прежде всего последние 35 лет жизни в Москве, когда скромная каталожная Румянцевского музея превратилась, по словам его биографа, в «ученый клуб», «умственный центр Москвы»¹.) Вся же его предыдущая сорокалетняя жизнь в *миру* ограничивалась скупой строчкой о рождении, предполагаемом изгнании из отчего дома и скитании-учительстве по среднерусским городам.

Истоки

И все же попробуем прочесть эту строчку глубже, отыскать к ней дополнительные сведения, чтобы начать мысленное восстановление важнейшей половины жизни мыслителя. За вещь, особенно за духовным созданием – прежде всего

¹ *Остромиров А. [А. К. Горский]. Николай Федорович Федоров. Биография. С. 14.*

книгой – Федоров призывал видеть творца, воскрешать его личность. Сам Николай Федорович наиболее точно запечатлелся в оставленных им текстах: то, что было утоплено в бессознательном, загнано в интимную глубь, что было переживанием и знанием сугубо для себя, лежало внутренней тайной, тут всплывало, проговаривалось там-сям. Внимательное вникание в некоторые повороты его мысли, особые всплески чувства, проникновенно-личные интонации, восклицания, вопросы и многоточия выявляет многое из его личности, из того, что было ее глубиннейшей травмой, жгучим стыдом и радостной мечтой.

Сильнейшее потрясение, взлом сознания лежат у истоков личности Федорова. Необычная установка всех органов чувства и понимания определилась еще в детстве. Формирование гения, великого человека – чудо; неисчерпаемо созвездие его истоков и причин. Попробуй судьба вынуть из этого созвездия самое, казалось бы, малое и странное впечатление, какой-нибудь генетический фактик, часто уходящий куда-то далеко в прошлое родственной цепи, – и не состоится этого чуда. А уж чтобы возник такой пророческий взгляд, такие исключительные душа и ум, должно было протечь и тысячелетнее развитие человечества, нужны были и те единственные условия, которые определили его появление на свет и весь закономерный, бессознательно и сознательно осуществленный ход его дальнейшей жизни и деятельности. Мы не можем поднять и тысячной доли этих объективных и субъективных, больших культурно-исторических и *малых* семейно-генетических условий. Что-то станет яснее (особенно по поводу первых, исторических) дальше, в процессе анализа учения Федорова, но по-настоящему все обнаружится, если действительно осуществится мечта Николая Федоровича – раскроются времена, разовьются людские свитки и настанет возвращение всех когда-либо живших к новому, преображенному существованию.

Для начала обратимся к словам самого мыслителя: «Человек есть существо рожденное, а не непосредственно возникшее, он есть изображение и подобие отцовского и материнского организмов со всеми их недостатками и достоинствами. <...>

Душа человека не *tabula rasa*, не лист чистой бумаги, не мягкий воск, из которого можно сделать все что угодно, а два изображения, две биографии, соединенные в один образ. Чем утонченнее будут способы познания, тем больше будет открываться признаков наследственности, тем ярче будут восставать образы родителей; так что полный ответ на древний вопрос, написанный над воротами Дельфийского оракула, – «*познай самого себя*» – мы будем иметь во всеобщем воскрешении»². Но сейчас нас пока интересует больше личность самого Николая

² Федоров Н. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. I. М., 1995. С. 282. Т. II вышел в том же году, Т. III – в 1997, Т. IV – в 1999: Дополнения. Комментарии к Т. IV – в 2000. Далее ссылки на это издание даются в тексте после цитаты, римская цифра обозначает том, арабская – страницу. Дополнительный том обозначен сокращением: «Д».

Федоровича, в котором и произошла «интерференция» (тоже его выражение) прежде и ближе всего двух человек, его непосредственных родителей, двух характеров, двух наследственных целых со стоящей за каждым из них вереницей предков. Федоров всегда упорно избегал всяких разговоров о своем прошлом, и только после его смерти близко стоявшие к нему люди раскрыли тайну его появления на свет. Его отцом был князь Павел Иванович Гагарин (1798 – первая половина 1860-х годов), о матери достоверных сведений до последнего времени не было никаких. Фамилию и отчество будущий мыслитель получил, как считается, от своего крестного отца, что обычно происходило с незаконнорожденными детьми.

Итак, отец и мать, две составляющие генетического, душевного состава Федорова, и тут сразу же – поражающий контраст. О первом мы можем узнать достаточно много, он принадлежал к славнейшей российской фамилии с тщательно прослеженной генеалогией. Корни рода (как и у всего русского родового дворянства) восходят к князю Рюрику, затем крестителю Руси князю Владимиру, далее – Юрию Долгорукому и Всеволоду Большое Гнездо, наконец князь Иван Всеволодович положил начало князьям Стародубским (по имени своего удела), а от его прапраправнука, князя Ивана Гагары, пошли уже князья Гагарины.

Большинство живущих по смерти оставляет след в местном масштабе или в душе лишь ближайших родственников, через одно-два-три поколения всякая память об индивидуальности стирается, и ее жизнь складывается в некую общую, безымянную копилку истории народа и эпохи. Гагарины же записали свои имена и деяния в некую привилегированную общенациональную, общероссийскую скрижаль. Даже наиболее прославленные культурные деятели чрезвычайно редко могли так тщательно проследить свои истоки и родственные связи, как родовая знать, к которой принадлежал отец Николая Федоровича. Но, кстати, многие из этих деятелей к этому особенно и не стремились, часто даже сознательно отталкиваясь от отцов и предков. Пафос их деяния – в творческом выражении собственного «я»; их культурное бессмертие – глубоко индивидуализировано. Родовая же знать недаром так и называется, что она – при всей узости и извращениях в сословную спесь – пронесит через века, засыпающие забвением все и всех, родовую память и преемственность; в этой памяти есть то древнее благородство, которым дышат религиозные генеалогии. Не случайно сам Федоров так ценил родословие, это первое знание человечества, предлагая вывести в будущем генеалогию из узких сословных рамок, превратить ее в науку о всех без исключения наших предках, в знание, созидающее единое конкретно личностное генеалогическое древо человечества.

В отличие от отца, мать Федорова представляла нам в абсолютной анонимности, ни единая черта ее биографии и облика не была передана даже в семейном предании, не проникла в ближайшую к Федорову молву, не зацепилась в воспоминаниях. Какие-то глухие домыслы то ли о крепостной (явно литературного характера), то ли о какой-то пленной черкешенке (дань романтике), то о какой-то красавице

грузинке, вывезенной с Кавказа, – явно спутали с братом Павла Ивановича, служившим в тех местах и женатым на грузинке («слышали звон»). Это полное *ничто* и *ничего* вовсе не удивительно, такова судьба абсолютного большинства просто живущих людей, а уж что говорить о русской женщине – о ее особой обреченности пройти «бесследно, безымянно на незамеченной земле» проникновенно сказал в свое время Тютчев. У самого Николая Федоровича, решительно бежавшего не только знаменитости, но и всякого упоминания своего имени, избравшего принципиальную ступешанность, явно среди прочих причин действует и как бы некая солидарность с пропадающим в безвестности большинством, теми, что неподписанными камнями входят в кладку исторического здания. Самые чуткие сердца, отмеченные особой праведностью подвижники, можно сказать, заработавшие себе райское блаженство, неоднократно твердо выражали желание отказаться от будущего спасения и разделить участь проклятых братьев, раз таковые будут. На разных уровнях бытия – земном и небесном – это один фундаментальный выбор, ведь славные и знаменитые и есть немногие избранные, удостоившиеся *рая* культурного бессмертия, а все остальные ушли в «тьму кромешную» полной пропащести, сторели в пожарах истории, неутомимым червем времени раскрошились в труху и перегною бытия.

В последнее время, однако, удалось узнать имя матери Федорова. Источник оказался совсем простым: бумаги тамбовской гимназии (в которой учился Николай), хранящиеся до сих пор в областном архиве. Здесь и было найдено В. С. Борисовым свидетельство о крещении Федорова. Вот его текст: «1834 года апреля 2-го дня дано сие Тамбовской губернии Елатомского округа села Вялсы от приходского священника Николая Федорова в том, что у проживавшей Елатомской округи в сельце Ключах дворянской девицы Елисаветы Ивановой 1829-го года мая 26 дня незаконнорожденный сын мною молитствован и того же, 26-го числа мая <...> с дьяконом Василием Антоновым и дьячком Кирилою Феофилактовым по обряду христианскому крещен, которому при святом крещении наречено имя Николай, восприемниками же были при том святом крещении помянутому незаконнорожденному сыну Николаю коллежский регистратор Федор Карлов сын Белявский и мещанская жена Александра Яковлева, во уверении чего и дано сие за подписом моим с помянутыми дьяконом Антоновым и дьячком Феофилактовым. К сему свидетельству приходской священник села Вялсы Николай Федоров руку приложил, того села дьякон Василий Антонов руку приложил. Дьячок Кирилл Феофилактон руку приложил»³. Итак – дворянская девица Елизавета Иванова. (Скорее всего, Иванова значит просто дочь Ивана, и тогда получается – Елизавета Ивановна без указания фамилии⁴.) Это все, что пока известно. По этому

³ Государственный архив Тамбовской области (далее – ГАТО), ф. 105, оп. 7, д. 4, л. 107.

⁴ Новую интересную гипотезу выдвинула О. Б. Муратова, автор книги «Тайна происхождения и родословная Федорова» (Рукопись. Архив Музея-библиотеки Н. Ф. Федорова),

свидетельству может сложиться впечатление, что фамилию Николай Федорович получил от крестившего его священника. Однако за год до этого (2 июля 1828 года) в той же церкви был крещен другой младенец той же Елизаветы Ивановой, старший брат Николая, получивший имя Александра Федоровича Федорова, воспитанники были те же, что у Николая, но священник другой – Андрей Кирилов⁵. Поэтому скорее всего именно имя их общего крестного отца Федора Карловича Белявского дало обоим и отчество, и фамилию.

Ничего более не зная о матери Федорова, мы не можем с какой-либо степенью точности провидеть в его физическом облике, характере и душевной глубине ее мерцающий образ. Хотя он там, безусловно, был. Можно предполагать, что от матери идет красота его лица, тонкость и соразмерность черт, удивительные глаза, которые отмечают все писавшие о его внешности.

Теперь об отце. В биографии Федорова, написанной его исследователем и последователем А. Остромировым (настоящее его имя Александр Константинович Горский), отмечалось, что Павел Иванович умер рано, в 34 года, почти за полгода перед кончиной деда Федорова, Ивана Алексеевича⁶. Считалось, что маленький Коля в четыре года теряет и деда, и отца, за чем последовало якобы удаление из княжеской усадьбы его матери с детьми, прижитыми от покойного Павла Ивановича. Затем эта версия стала кочевать по всем популярным пересказам биографии Николая Федоровича. Однако выяснилось, что Павел Иванович прожил до начала шестидесятых годов. Откуда же пошла эта ошибка Горского? Он получил сведения об отце Федорова от Н. П. Чулкова, сослуживца мыслителя по Московскому главному архиву Министерства иностранных дел⁷. Согласно этим сведениям, Павел Иванович сдал экзамены при Пажеском корпусе и Московском университете, начал с 24 лет службу в Коллегии иностранных дел, через несколько месяцев по собственному желанию уехал в Америку, в Филадельфию, где находилась в те годы русская миссия. Вернувшись в Россию в 1826 году и полностью оставив службу, князь Гагарин поселяется в одном из своих родовых имений, расположенном в Тамбовской губернии. На это время и приходится его связь с матерью Николая Федоровича. Причем она была довольно прочной: известно, что у Федорова были еще родной брат и две сестры. При составлении справки для Горского Чулков, в частности, обращался к «Некрополям» и в первом томе

предположив, что мать Николая Федоровича была из рода дворян Макаровых, поскольку именно такую фамилию носили два ее первых ребенка от Павла Ивановича Гагарина, дочери Елизавета и Юлия, а традиция давать внебрачным дочерям фамилию матери существовала. Пока О. Б. Муратовой не удалось документально подтвердить свое предположение, но поиск ее продолжается.

⁵ Свидетельство о крещении А. Ф. Федорова также обнаружено В. С. Борисовым.

⁶ Остромиров А. [А. К. Горский]. Николай Федорович Федоров. Биография. С. 8, 9.

⁷ См. письмо А. К. Горского Н. А. Сетницкому от 20 апреля 1927 // Литературный архив Музея национальной литературы (Чехия), ф. 142 (Fedoroviana Pragensia). I.3.27.

«Московского некрополя» (СПб., 1908) обнаружил, что среди князей Гагариных, захороненных на московских кладбищах, в один год с отцом Павла Ивановича Иваном Алексеевичем (умер 12 октября 1832 года, погребен в Новоспасском монастыре) отмечен и князь Павел Иванович Гагарин (родившийся, как здесь указано, в 1798 году, умерший 22 мая 1832 года и погребенный на Дорогомиловском кладбище). Совпал год рождения, и Чулков, естественно, решил, что это и есть отец Федорова. Вслед за ним и Горский в своей биографии указывает отмеченную в «Некрополе» дату смерти и кладбище, где захоронен Павел Иванович, и больше ничего.

Между тем след жизни и деятельности Павла Ивановича, оказывается, существовал; много ценных сведений о нем обнаружилось в воспоминаниях другого его незаконного сына, знаменитого актера Александра Павловича Ленского, которые он написал в начале 1890-х гг. Но здесь имя отца не было прямо названо. И только современный исследователь творчества Ленского Н. Зограф документированно осветил его биографические истоки. В книге Н. Н. Рожковской «Театральная жизнь Кишинева XIX – начала XX века» (Кишинев, 1979) есть целая глава «Театр П. И. Гагарина» о деятельности отца Федорова в середине 1840-х годов, с важными ссылками на газетные, мемуарные и архивные источники. Наконец стал более определенно проступать характер отца Федорова, образ его жизни. Интересно, что человек, породивший такого религиозного гения, как Федоров, сам уже как бы выпал из колеи, вышел из той сословной нормы, в которой держались и его предки, и отец, и пятеро его братьев. Уже в нем начался какой-то важный сдвиг и слом заведенного типа, в своем роде он стал первым *déclassé* в семье Гагариных.

Сравним его с отцом. Иван Алексеевич (родился в 1771 году) был крупным сановником, государственным деятелем двух царствий (Павла I и Александра I), по табели о рангах имел второй чин, действительного тайного советника, был сенатором. Двадцати лет отличился при штурме Измаила, получил орден Святого Георгия. Основную службу провел при великой княгине Екатерине Павловне, с 1810 года управлял ее двором, находившимся в Твери. Эта должность принесла ему ордена, почести, большое богатство. Его имя осталось в истории русского масонства, он был главным учредителем и управляющим ложи Орла Российского в Петербурге, открытой в день восшествия на престол Александра I и ему же посвященной. Ряд других лож в столице и Симбирске принял его в свои почетные члены. Известен Иван Алексеевич и как меценат, один из организаторов Российского общества поощрения художников. Его страстная любовь к театру привела к увлечению известной трагедийной актрисой, бывшей крепостной Екатериной Семеновой. Но и тут Иван Алексеевич удержался в рамках пристойности. Их неразлучный пятнадцатилетний союз, давший сына и трех дочерей, увенчался законным браком, заключенным в Москве. Туда Гагарин был переведен на службу в департамент сената, кстати, за год до рождения Николая Федоровича, в 1828 году,

когда Ивану Алексеичу было уже 57 лет. (Ранее сама Семенова не решалась вступить с ним в брак, ибо он влек за собой немедленное оставление сцены.)

Павел Иванович, отец Федорова, был старшим из шести сыновей от первого брака Ивана Алексеича с Елизаветой Ивановной Балабиной, умершей довольно рано. Все сыновья, питомцы Пажеского корпуса, заняли приличествующее их происхождению и богатству место в обществе. Дмитрий Иванович (1799–1872), генерал-майор, в сороковые годы жил в Одессе (в его доме зимой 1851 года часто бывал Гоголь), чуть позднее он служил керченским градоначальником. Константин Иванович (1800–1851) был губернским предводителем дворянства в Тамбове. Григорий Иванович (1800–1848) и Владимир Иванович, камер-юнкер, агроном (1806–1860), были крупными землевладельцами в Тамбовской губернии, где и находились все пожалованные князьям Гагариным земли. Особыми заслугами отмечен Александр Иванович (1801–1857), вначале адъютант графа М. С. Воронцова, служивший в Одессе, а затем в Тифлисе. Он отличился в экспедициях против горцев, в конце 40-х годов – дербентский градоначальник, потом кутаисский военный губернатор, много сделавший для благоустройства губернии: построил гимназию, два моста через Риони, устроил бульвар, городской сад, ввел новые сорта винограда (в том числе знаменитую «изабеллу»). В войне с Турцией 1853–1855 годов при штурме Карса был тяжело ранен, в феврале 1857 года после успешного лечения за границей приступил к обязанностям кутаисского генерал-губернатора, но уже осенью погиб в результате покушения на его жизнь сванетского князя.

Именно Александр Иванович, прибывший в Одессу с Воронцовым во второй половине 1830-х годов, переманил к себе Дмитрия Ивановича и Павла Ивановича: последний жил до этого в своих поместьях Елатомского и Спасского уездов Тамбовской губернии (в одном из них находились и мать Федорова с детьми от Павла Ивановича). Надо еще отметить, что через год после крещения маленького Николая Федорова, его отец венчается в Москве весной 1830 г. с родовой, двадцатидесятилетней Людмилой Ивановной Вырубовой, от которой у него было трое законных сыновей (Константин – 1830, Иван – 1833 и Николай – 1835) и две дочери (Елизавета – 1832 и Зинаида – 1838)⁸. Это было соединение двух ветвей древних дворянских родов, союз, скорее всего инициированный и благословенный Иваном Алексеичем Гагариным (не забудем, что Павел Иванович был его старшим сыном и основным наследником).

Уезжая в Одессу, отец Федорова на десятилетие оставил занятия землевладельца, свое имение и возвратился туда только в 1849 году (год окончания Николаем гимназии) уже с новой, тоже законно оформленной семьей.

⁸ Центральный исторический архив г. Москвы, ф. 4, оп. 13, ед. хр. 101, л. 110 об. Сообщено О. Б. Муратовой.

Вот что пишет в своем дневнике Э. С. Андреевский, известный одесский врач и общественный деятель, вспоминая о Гагариных и конкретно о Павле Ивановиче одесского периода его жизни: «Павел прибыл в Одессу со своими актерами и оркестром из крепостных людей и устроил здесь разные увеселительные для публики заведения, между прочим и театр, который слыл у иностранцев *il teatro Gagari*»⁹. Впервые о выступлении музыкантов князя Гагарина в Одессе (в концертах итальянской оперы) упоминает 8 апреля 1839 года газета «Одесский вестник». Впоследствии именно эта газета регулярно освещала деятельность гагаринской антрепризы. Павел Иванович хотел создать в городе постоянный драматический театр. Он начал с того, что открыл небольшую театральную школу, где двенадцать юношей и столько же девушек обучались основам драматического искусства, танцам, музыке, французскому языку... На свои же средства Гагарин строил здание будущего театра, выписал к себе молодых воспитанников московской театральной школы. Среди них был и Корнелий Иванович Полтавцев, впоследствии знаменитый актер Малого театра, женившийся на дочери Павла Ивановича, родной сестре Николая Федоровича, Елизавете Павловне Макаровой (очевидно, она была первым ребенком и получила имя матери). Она состояла в труппе своего отца, где играла и Макарова Вторая, как ее называли. Это была вторая родная сестра Федорова, Юлия Павловна. Отец, уезжая из поместья, двух девочек взял с собой.

В ноябре 1845 года первый в Одессе постоянный театр, созданный Павлом Ивановичем, дал свои первые публичные представления. А когда в январе следующего года он вобрал в свой состав труппу И. Л. Мочалова, перед ним открылись новые творческие возможности. «Одесский вестник» 26 января 1846 года приветствовал это событие: «Любителям русского театра известно, что после соединения двух наших трупп в одну сцена русская оживилась новою жизнью и подает собою хорошие надежды в будущем». Местная печать отмечала слаженность коллектива, естественность актерской игры, интересную постановочную работу. Театральное дело князя Гагарина разворачивалось как одно из самых значительных среди провинциальных южных трупп того времени. Актер А. А. Алексеев, вспоминая свою театральную молодость, отчасти прошедшую в коллективе Павла Ивановича, писал о нем: «Князь Гагарин <...> не довольствовался одним городом, а делал периодические переезды в Кишинев. Дела его были очень недурны, артистам жалованья выплачивал не скупно, впрочем и антрепренерствовал-то он не из-за барышей, а просто из любви к искусству»¹⁰. Эту любовь к искусству, к теат-

⁹ Андреевский Э.С. Записки // Из архива К. Э. Андреевского. Т. 1. Одесса, 1913. С. 276.

¹⁰ Алексеев А.А. Воспоминания артиста императорских театров // Исторический вестник. 1892. Т. 49. С. 97.

ру и музыке он унаследовал от своего отца, но зашел в ней дальше, и стоила она ему дорого.

Первый сезон одесского театра оказался и последним, обрушились неожиданные беды: трагически погиб Мочалов, стали уходить из театра актеры и среди них первый трагик труппы Н. Х. Рыбаков. С перерывом сыграли всего десяток представлений, и театр в апреле 1846 года переехал в Кишинев. По свидетельствам современников, собранным в книге Рожковской, гагаринская труппа чрезвычайно полюбилась кишиневцам, она вызвала не просто преходящее увлечение театральным зрелищем, а настоящую потребность в нем. Игралась и трагедийная классика («Разбойники», «Коварство и любовь», «Гамлет»), но все же львиную долю репертуара составляли переводные и русские водевили. Была развернута, как отмечает Рожковская, «своеобразная “антология” водевильного жанра, отвечавшая самым разнородным запросам кишиневской публики»¹¹.

Свои предприятия Павел Иванович полностью обеспечивал сам. Вскоре, однако, театр был временно закрыт властями, и это нанесло ему такой непоправимый финансовый ущерб, что он уже полностью не оправился и с перерывами, еле сводя концы с концами, просуществовал только два года, до 1849 года. Надо полагать, что сановные братья Павла Ивановича не были довольны свободным артистическим стилем его жизни, безудержным увлечением искусством, фактически приведшим его к разорению. По некоторым сведениям, он был взят ими в опеку, во всяком случае оказался вынужденным вернуться в имение Сасово Тамбовской губернии, доставшееся ему после смерти отца.

Современные исследователи истории театра по заслугам оценили вклад Павла Ивановича, самоотверженного мецената и антрепренера, в развитие русской провинциальной сцены 1840-х годов. Но при жизни за ним волочился шлейф скандалов, пересудов, сплетен, столь часто сопровождающий жизнь в театральной среде. К тому же Павел Иванович пылко увлекался не только магией театра, но и женской красотой.

Вот некоторые из обнаруженных мною отзвуков этой стороны его жизни. Один из одесских старожилов вспоминает из времен своей молодости (конец 1830-х – начало 1840-х годов): «Кроме театра, застал я в Одессе заведение, почему-то носившее название “Вокзала”, на Канатной улице. В здании этом происходили концерты и балы, посещаемые преимущественно дамами полусвета и разгульною молодежью. Содержал это заведение некий князь Гагарин (не из одесских кн. Гагариных), большой любитель музыки и балета»¹². Об этом же увеселительном месте рассказывает в своем дневнике Э. С. Андреевский: «Кроме театра,

¹¹ Рожковская Н.Н. Театральная жизнь Кишинева XIX – начала XX в. Кишинев, 1979. С. 45.

¹² Чижевич О.О. Город Одесса и одесское общество (1837–1877) // Из прошлого Одессы. Сборник статей, сост. Л. М. де Рибасом. Одесса, 1894. С. 36.

который находился в городском саду, где теперь Европейская гостиница, у кн. Павла Ивановича было еще заведение в доме кн. Волконского, за балкою. Тут восседала за конторским столом его девка, знаменитая Ольга. Из-за этой Ольги кн. Павел Иванович поспорил однажды с графом Николаем Самойловым. Самойлов отвалял его палкой, а затем, вследствие приказа из Петербурга, заведение было закрыто и Павел со своим притоном уехал из города»¹³. Если верить точности мемуариста (тут возможны и некоторые сдвиги памяти: запись произведена через четверть века после описываемых событий), то одной из причин переезда князя в Кишинев был этот скандальный эпизод. Но существовало и другое, на этот раз сугубо достоверное, личное побуждение к этому перемещению: в Кишиневе в это время находилась примадонна одесской итальянской оперы Ольга Вервицциотти, которой пленился Павел Иванович. И уже 1(13) октября 1847 года в Кишиневе Вервицциотти родила Павлу Ивановичу сына, будущую звезду русской сцены Александра Ленского. Его воспоминания детства – единственный источник, который раскрывает нам не внешнюю канву деятельности Гагарина, не обкатанные сплетней, раздутые молвой какие-то эпизоды его жизни, а глубоко трогательные черты его душевного облика.

То, что припоминает Ленский об обстановке своего детства: усадьбе, заведенных порядках воспитания, кабинете отца, его привычках, – для нас чрезвычайно ценно. Через два десятка лет, по существу, повторяется ряд условий, возможно, формировавших в свое время и Николая Федоровича, такого же незаконного сына, так же воспитывавшегося в усадьбе отца¹⁴. В характера Ленского, сводного брата Федорова, обнаруживаются некоторые общие с ним черты, причем такие, которые сам Ленский объясняет атмосферой своего детства. С дворовыми детьми ему играть не позволяли, дома все была занята своими делами и переживаниями, и ребенок рос в одиночестве, без общения, оставленный своему безудержному воображению. «Дома со мной почти не разговаривали <...> спросить о чем-нибудь тоже нельзя, а нужно дожидаться, пока дадут; одним словом, с детских лет я был обречен на подвиг молчальника; и следы от этого остались на всю жизнь: вот откуда моя необщительность, молчаливость, подчас даже угрюмость.

Я стал жить исключительно в мире фантазии, и что бы вокруг меня ни говорили, ни делали, я был мыслью далеко со своими излюбленными героями: сначала Робинзоном Крузо, впоследствии Дон Кихотом»¹⁵.

¹³ Андреевский Э.С. Записки // Из архива К. Э. Андреевского. Т. 1. С. 276.

¹⁴ Сасово, действительно, расположено недалеко от села Вяльсы, где крестили и Александра, и Николая Федорова, и, соответственно, от села Ключи, где была усадьба П. И. Гагарина, в которой рос будущий философ.

¹⁵ Ленский А.П. Статьи. Письма. Записки. Изд. 2-е, дополненное. М., 1950. С. 27. Далее в этой главе в ссылках на данное издание страница указывается после цитаты.

Тут же мы узнаем, что «Дон Кихот» был также любимой книгой отца, которую он читал во французском переводе». (Он сам был отцом будущего величайшего из Дон Кихотов, но уже наполнившего точным положительным содержанием свой нравственный идеал и потребность вмешаться в непорядки и зло этого мира.) Кстати, библиотека князя занимала целиком, от пола до потолка, одну из стен его обширного кабинета и состояла в основном из книг на французском языке.

Павел Иванович был натурой артистичной и многосторонне одаренной. Любовь к литературе, страсть к театру, оказавшуюся столь для него несчастной, он сочетал со склонностью к тонким ручным работам. В доме было немало мастерских вещей его собственного изготовления. Но самое глубинное приоткрывалось в его музицировании. В ночной тишине, не зажигая огня, Павел Иванович брал скрипку, изливая и избывая на ней свою тоску, горести самых тяжелых моментов своей затворнической жизни. «Как я любил слушать звуки его импровизаций, всегда почему-то грустных <...> Темой его вариаций часто бывали мотивы русских и малороссийских песен. Летом он играл у открытого окна, устремив свои большие глаза прямо в небо, и кончал всегда на постепенно замиравшей высокой ноте. Эти скорбные звуки наполняли огромный сад, доносились ко мне в мою кроватку, и я нередко засыпал под эти плачущие мелодии.

О чем так грустил мой отец, о чем плакала его скрипка, этого я тогда не мог узнать. В минуты больших душевных волнений отец запирался в кабинете и долго ходил из угла в угол, заложив руки за спину, нередко пощелкивая большим пальцем о средний.

Когда раздавались звуки его скрипки, это было знаком, что горе его перебрало и нашло выход – в звуках. Скрипка замолкала, и отец появлялся со своей обычной грустной улыбкой, одним углом рта; та же улыбка светилась и в добрых больших глазах...» (с. 28). Здесь словно выступает на поверхность, просвечивается та психейная, лирическая родовая подпочва, без которой не мог бы родиться Федоров. В отце она жила цельно-нерасчлененно, музыкально, народно (вспомним мысли Гоголя о русских тоскливо-протяжных песнях, а они-то и служили основой для импровизаций Павла Ивановича) и лично одновременно. В сыне эта душевно-эмоциональная подпочва проросла пророчески ясным, светоносным глаголом.

Какое-то особенно нежное, чувствительное сердце отличало отца Федорова. «Глубокое уважение» и даже «безумная любовь» привязывали его к братьям, а одного из них, Александра Ивановича, он просто боготворил. На эти исключительные чувства братья отвечали холодностью, во всяком случае в последний период жизни Павла Ивановича. Болезненно поражает сцена, в точных эмоциональных деталях восстановленная в памяти Ленского. В начале 1857 года Александр Иванович, оправившись после тяжелого ранения (узнав о нем из

газет, Павел Иванович упал в обморок), должен был, направляясь на Кавказ к месту нового назначения, проехать мимо усадьбы в Сасове. Но он не только не заехал к брату, но даже не взглянул на трепетавшего от волнения Павла Ивановича («бледного, с широко раскрытыми глазами, развевающимися по ветру полуседыми кудрями»), ждавшего его у подъезда вместе с десятилетним Сашей и его матерью. «В аллее показался экипаж шестерней, с форейторм и денщиком на козлах. В карете сидел старик в полной генеральской форме, с лентой через плечо, с грудью, залитой орденами, блестящими на солнце <...> Отец, держа меня за руку, ступил одной ступенькой ниже, протянул руку к карете, словно умолял остановиться. Старик сидел неподвижно, как изваяние, адъютант быстрым движением поднял стекло кареты, и экипаж скрылся за поворотом аллеи.

Отец до боли стиснул мою ручонку, оперся на колонну и низко опустил голову <...> Всю ночь плакала отцовская скрипка, горько плакал и я в своей кроватке, потрясенный горем отца и смутно сознавая и свою большую долю в этом горе...» (с. 30). То небратство даже между самыми близкими людьми, которое позднее так мучило сознание Николая Федоровича, знал и его отец. Александр Ленский подытоживает так: «Мой добрый отец <...> на свою горячую любовь к братьям не получил ответа и впоследствии, когда обстоятельства отца переменялись, он так и умер в нищете, не повидав даже единственного оставшегося тогда в живых брата Дмитрия» (с. 29).

Сведений о последних годах жизни Павла Ивановича практически нет. Известно, что мать Ленского умирает между 1857—1858 годами и вскоре Павел Иванович с двумя от нее сыновьями — Александром Павловичем Ленским и Анатолием Павловичем Вервицотти — переезжает в Москву. Здесь Павел Иванович попадает в настолько жалкое положение, что Сашу берут к себе Полтавцевы (мы помним, что Корнелий Полтавцев был женат на родной сестре Федорова Елизавете). Судя по воспоминаниям Ленского, его отец умирает где-то в первой половине 1860-х годов, до 1865 года, когда, в связи с предсмертной болезнью Корнелия Николаевича и резким ухудшением материального положения его семьи, Александр уезжает во Владимир, где и начинает самостоятельную актерскую деятельность. В этом городе он живет в доме княгини Зинаиды Павловны Гагариной, законной дочери Павла Ивановича, о которой Ленский сохранил память как об истинном своем ангеле-хранителе. С Зинаидой Павловной, по воспоминаниям ученика Федорова Петерсона, общался и Николай Федорович. Это была на редкость душевная, светлая женщина, внешне очень похожая на своего отца. Для нее все ее сводные братья и сестры были родными и близкими людьми, которым она всегда старалась помочь чем могла.

Детство, юность, годы учения

Раннее детство до семи лет Николай провел в усадьбе отца в Ключах¹⁶. Рос он со своим братом Александром, который был лишь на год его старше. Это можно предположить хотя бы по тому, что далее все годы учения они неразлучны, учатся в одном уездном училище, вместе поступают в Тамбовскую гимназию, оканчивают ее одновременно и тут же поступают оба в Ришельевский лицей, который покидают в одно время (и только тут пути их расходятся). Обстановка его раннего детства была, очевидно, похожей на ту, что описывал позднее Ленский, с той разницей, что могла быть более светлой, поскольку и отец был еще молод, полон сил, не разорен, да и рос Николай не в полном одиночестве, а с братом и сестрами (которые были несколько его старше). Уже тогда формируется особая впечатлительность Николая. Среди бумаг Федорова после его смерти был найден отдельный листок, на котором его рукой были написаны, а затем перечеркнуты следующие строки (он не захотел продолжать эти явно личные заметки)¹⁷: «От детских лет, – говорит он, – сохранились у меня три воспоминания. Видел я черный, пре-черный хлеб, которым, говорили при мне, питались крестьяне в какой-то, вероятно, голодный год. Слышал же я в детстве войны объяснение на мой вопрос об ней, который меня привел в страшное недоумение: на войне люди стреляют друг в друга... Наконец, узнал я не о том, что есть и неродные, и чужие, а что сами родные – не родные, а чужие» (IV, 161). Над этими строками стоит заголовок «Необходимое дополнение». Наиболее близкий к Федорову человек, Н. П. Петерсон, удостоверяет: «Я не сомневаюсь, что три детских впечатления относятся, т. е. испытаны самим Н<иколаем> Ф<едорович>ем. О черном хлебе он мне говорил *не раз*; я помню даже, что видел он этот хлеб в барской усадьбе, где жил с матерью, а м<ожет> б<ыть> и не с матерью, этого хорошо не помню, но усадьба эта была в Елатомском уезде <...>»¹⁸. *Голод, смерть, неродственность*, эти фундаментальные натуральные бедствия человека и человечества, ставшие главным предметом преобразовательного дерзания Федорова-мыслителя, впечатались в него сильнейшим экзистенциальным первооткрытием – потрясение уходит в самые глубины его складывающейся личности.

¹⁶ Именно здесь, согласно свидетельству о крещении Николая Федоровича, жила его мать, а само село относилось к владению его отца Павла Ивановича. О. Б. Муратовой разыскано свидетельство, выданное Павлу Ивановичу Гагарину в 1837 году, где удостоверяется, что он «действительно сын князя Ивана Алексеевича Гагарина, от которого и досталось ему по наследству родовое имение, состоящее Елатомского уезда в сельце Ключах с деревнями, заключающееся в 786 душах» (ГАТО, ф. 161, оп. 1, д. 3138, л. 5). Скорее всего, Елизавета Ивановна с детьми и проживала в этом поместье их отца.

¹⁷ Отрывок датируется началом 1899 г. (Д., 210).

¹⁸ Н. П. Петерсон – В. А. Кожевникову. 21 июля 1904 // НИОР РГБ, ф. 657, к. 10, ед. хр. 24, л. 63.

«Существенною, отличительною чертою человека являются два чувства – чувство смертности и стыд рождения. Можно догадываться, что у человека вся кровь должна была броситься в лицо, когда он узнал о своем начале, и как должен был он побледнеть от ужаса, когда увидел конец в лице себе подобного, единокровного. Если эти два чувства не убили человека мгновенно, то это лишь потому, что он, вероятно, узнавал их постепенно и не мог вдруг оценить весь ужас и низость своего состояния» (I, 277). Так позднее определит Федоров два основных аффекта, образующих травматическое ядро человека и с самого его появления как особого существа в природе, и с детства каждого живущего (единство онтогенеза и филогенеза, родового и индивидуально-личностного формирования). Это вроде бы объективная констатация неких фундаментальных явлений в общечеловеческой психике, но вчитайтесь, и вы почувствуете в самой взволнованности речи, в сгущенной крайности выражений, в этой двойной волне то стыда и позора, то ледящего ужаса – интонации личного признания. Да и попросту, Федоров никогда не выделял себя из человечества, и что, по его мнению, было свойственно человеку как таковому, не могло не быть и его собственным переживанием. Возможно, эти волны крови потрясли организм маленького Коли почти одновременно, одна за другой и потому особенно сокрушительно. Мы знаем, что дед его, Иван Алексеевич Гагарин, умер, когда ему было четыре года; в доме Павла Ивановича, отличавшегося трепетной любовью к своим близким, должен был быть настоящий культ его столь прославленного отца. В кабинете Павла Ивановича, по воспоминаниям Ленского, находилось единственное изображение: «Над софой висел в широкой раме с бордюром из вызолоченной бумаги литографированный портрет вельможи, разительно похожий на отца; это был человек с курчавой, в кольцах шевелюрой, в штатском костюме начала XIX века, с двумя звездами на груди и лентой через плечо. Это был портрет отца моего отца» (с. 29). (Эти же выющиеся волосы унаследовал и Николай Федорович.) Смерть Ивана Алексеевича наверняка была воспринята всеми в усадьбе как огромное событие и, по меньшей мере самим Павлом Ивановичем, как страшное горе и испытание. Оно не могло не коснуться и Николая, возможно, каким-то особо пронзительным, полубессознательным образом.

Что касается «стыда рождения», то это чувство осложнилось и усугубилось самим фактом незаконнорожденности. С раннего детства до Коли, скорее всего, доходили вначале даже плохо сознаваемые намеки на плоды барского греха. Не мог он не ощущать и определенной двусмысленности в положении своей матери, невенчанной жены князя, и ее четырех детей. Даже в самом лучшем случае неловкость самочувствия должна была существовать и усиливаться с годами, когда стало ясно, что и фамилия у детей не отцовская, и отчество у мальчиков другое (девочки, Елизавета и Юлия, носили отчество отца, а фамилию Макаровых), и не пользуются они княжескими правами (все были записаны первоначально в сословие купцов). Не говоря уже о том, как к ним могли относиться многие ближайшие родственники самого Павла

Ивановича... Одним словом, вспомним третье открытие детского сознания Николая, «что сами родные – не родные, а чужие». В случае с Федоровым мы сталкиваемся с обостренно невротическим случаем переживания и «стыда рождения», и «чувства смертности», но давшим уникально созидательный выход.

Однако лишена всякого основания легенда-роман об изгнании его матери с детьми из барской усадьбы вслед за смертью деда и отца (поскольку считалось, что и Павел Иванович умер за несколько месяцев до Ивана Алексеевича), к чему якобы была особо причастна неродная бабка Екатерина Семенова. Мы теперь достоверно знаем, что, даже расставшись с Тамбовской губернией в середине 1830-х годов, Павел Иванович берет обеих сестер Федорова с собой, позднее они занимают неплохое положение в обществе, а сыновей помещает на учебу в уездное училище г. Шацка, расположенного рядом с Сасовым. В одном из писем Петерсона встречается редкая деталь, касающаяся ранних лет жизни Федорова: однажды Николай Федорович, встретив у него на квартире в Керенске (ныне – Вадинск Пензенской области) Сергея Александровича Тутолмина, бывшего сначала мировым судьей, а затем земским начальником, вспомнил его отца, керенского помещика Александра Андреевича, которого он помнил по наездам к ним в усадьбу. При этом Федоров рассказал своему другу следующее: «Тутолмин был довольно мелкопоместный, имел тарантас, в котором жил, можно сказать, тройку лошадей, играл в карты и, кажется, был шулер и разъезжал, подобно Чичикову, по помещикам на огромное пространство вокруг своего имения дер. Крутовки в Керенском уезде, которое получил от помещика-генерала Поливанова, выдавшего за него свою воспитанницу, по всей вероятности, дочь (Поливанов был тоже известен Николаю Федоровичу в детстве)»¹⁹. Такого рода память о лицах, подробностях их образа жизни говорит о том, что Николай жил в доме отца во всяком случае дольше самого раннего детства, как это представлялось раньше.

Да и в Шацком уездном училище, куда братья Федоровы поступают в один 1836 год, когда старшему, Александру, было восемь, а Николаю – семь лет, все учащиеся содержались на собственном иждивении. (По статистике тех лет, в этом училище обучалось дворян – 14 человек, обер-офицеров – 11, купцов – 12, двое из них и были Федоровы, мещан – 20, крестьян – 8.) Образовано это училище было по новому уставу от 8 декабря 1828 года с трехлетним курсом обучения и предназначалось прежде всего для детей купцов, обер-офицеров и дворян, многие из которых здесь готовились в гимназию. Но оба брата учились не три, а шесть лет, первые три года – в приходском училище. В тамбовском архиве хранится «Ведомость об успехах и поведении учеников Шацкого уездного и приходского училищ» на 8 октября 1838 года, составленная в связи с ревизией. По принятой в училищах трех-

¹⁹ Н. П. Петерсон – В. А. Кожевникову. 21 июля 1904 // НИОР РГБ, ф. 657, к. 10, ед. хр. 24, л. 63–63 об.

балльной системе оценок у Александра и Николая отметки были такие: по закону Божьему – 2, 2; по грамматике – 3, 2; географии – 3, 3; истории – 4, 3²⁰. Однако по истечении шести лет Николай получает следующее свидетельство. Я привожу его полностью, поскольку оно дает еще и представление о предметах, изучавшихся в училище: «Ученик Николай Федоров, без брака рожденный, из купеческих детей, имеющий от рода тринадцать лет, обучался со 2-го июля 1836 по 2-ое же июля 1842 года в Шацком уездном училище, во все учение поведения был хорошего; в преподаваемых предметах оказал успехи: 1^м в Законе Божиим и 2^м русском языке – совершенно достаточные, 3^м в арифметике и геометрии, 4^м в истории и географии как всеобщей, так и российской, и 5^м чистописании, черчении и рисовании – хорошие, в чем и дано ему сие свидетельство за печатью училища. 1842 года августа 11 дня. Штатный смотритель Константин Хонерский. Законоучитель иерей Григорий Константиновский. Учитель русского языка Василий Никольский. Учитель арифметики и геометрии – Терентьев. Учитель истории и географии – Меморанский. Учитель рисования, черчения и чистописания Михаил Штерн»²¹. Свидетельство необходимо для поступления в гимназию, и уже через десять дней после его получения подается прошение директору тамбовской гимназии Захару Ивановичу Трояновскому по поручению от князя Константина Ивановича Гагарина (брата Павла Ивановича), бывшего в эти годы уездным предводителем дворянства, с просьбой принять в гимназию купеческих детей Александра и Николая Федоровых, «находящихся у него из одного человеколюбия на воспитании», к чему прилагались «и за полгода деньги в пользу гимназии за каждого ученика»²². Это прошение, хранящееся в тамбовском областном архиве, обнаруживает важнейшую для Николая Федоровича биографическую нить. Павел Иванович, покинув Тамбовскую губернию, оставил сыновей на попечении их дяди (но при их положении незаконных детей брата Константин Иванович не мог признать их официально за родных).

Братья Федоровы учились в тамбовской гимназии (с 1842 по 1849 год) в лучшее время ее истории, когда директором был Трояновский. (В следующие годы, как раз с окончанием Александром и Николаем гимназии, начинается ее неуклонный упадок.) Гимназия готовила и к университету, и к практической, чиновничьей деятельности. Преподавание носило преимущественно классический характер, с 1838/39 учебного года был введен греческий язык. Трояновский уделял большое внимание преподаванию и новых языков. Французский язык прекрасно вел А. Ф. Адонар, погибший в 1847 году в холерную эпидемию. В 1839 году инспек-

²⁰ Четверка, полученная Александром Федоровым за историю, может быть свидетельством его исключительных успехов в этом предмете.

²¹ ГАТО, ф. 105, оп. 1, л. 751, л. 104. Документ разыскан В. С. Борисовым.

²² Сообщено В. С. Борисовым.

тировавший гимназию попечитель Харьковского учебного округа, разделявший всех чиновников на отличных, хороших и посредственных, нашел, что в тамбовской гимназии все преподаватели отличные, за единственным исключением учителя немецкого языка. Николай Федорович основу своей замечательной образованности, безусловно, получил в гимназические годы. Однако определенные трудности он испытывал именно с немецким языком, и тут ему на помощь приходил В. А. Кожевников (так было, в частности, при изучении работ Ницше).

Учились оба брата очень хорошо: так, по сохранившемуся годовому отчету гимназии за 1848 год в числе наиболее отличившихся по всем предметам в последнем 7-м классе среди семи человек названы Александр и Николай Федоровы. И хотя первый больше блистал в точных науках, физике и математике, а второй – в гуманитарных, сочинение Александра Федорова на тему «Чего требует общество от современного Поэта?» было прочитано им 18 июня 1848 года на торжественном акте, посвященном окончанию академического года, в присутствии директора, инспектора, всех преподавателей и учащихся (такие литературные чтения учредил в гимназии Трояновский) и опубликовано в «Прибавлениях к журналу Министерства народного просвещения» за тот же год²³. Сочинение выдержано на хорошем литературном уровне, в нем есть интересные мысли о связи творческого дара с личностью поэта, о роли науки.

Единственная деталь гимназических лет Николая Федоровича, известная с его собственных слов, попала в воспоминания Петерсона. Федоров говорил о сильнейшем впечатлении, произведенном на него преподавателем истории Измаилом Ивановичем Сумароковым²⁴. Прекрасное знание своего предмета (курс он вел по университетской программе) сочеталось в нем с чрезвычайно гуманным отношением к ученикам, с готовностью всегда прийти им на помощь (известен случай, когда Сумароков при своих скромных средствах более двух лет содержал на свой счет бедного, но способного ученика). Учитель истории работал в гимназии недолго (с 1838 по 1845 год), но оставил в ее истории, в сердцах учеников глубокий след. Так, через тридцать лет после того, как он покинул гимназию, в связи с новым назначением во Владимир на Клязьме (где он и умер в 1883 году), его бывшие ученики провели сбор средств для учреждения специальной стипендии его имени. В статье «Памяти Измаила Ивановича Сумарокова» («Тамбовские губернские ведомости». 1883. № 100) мы находим такие строки о нем: «По преданию и по воспоминаниям еще живущих учеников Измаила Ивановича, это была

²³ Федоров А. Чего требует общество от Поэта? // Прибавления к журналу Министерства народного просвещения за 1848 г. Кн. 1. СПб., 1848. С. 6–10 (3-я пагинация). Сообщение о торжественном акте в Тамбовской гимназии см.: Там же. Кн. 2. СПб., 1848. С. 39–40 (1-я пагинация).

²⁴ Петерсон Н.П. Н. Ф. Федоров и его «Философия общего дела» // НИОР РГБ, ф. 657, к. 5, ед. хр. 7, л. 5 об.

самая светлая личность, безукоризненной чистоты, имевшая огромное благотворное влияние на своих воспитанников в более нежели скромной, по тогдашнему времени, деятельности преподавателя гимназии. Влияние это Измаилом Ивановичем приобретено искреннею, непритворною любовью к преподаваемому им предмету и к своим ученикам, в которых он видел не шаловливых школьников, а молодые человеческие души, готовые к восприятию истины, излагаемой, понятно, соответственно возрасту учащегося. У Измаила Ивановича не было почти вовсе неуспешных учеников, так как уроков его все ждали с нетерпением, с глубоким вниманием выслушивая слова своего любимого преподавателя. Преподавание Измаила Ивановича всегда отличалось и глубочайшим его благоговением в духе истины перед величайшим учением Христа Спасителя и непоколебимой любовью к родине нашей и к исторически сложившемуся ее государственному устройству. В частной жизни Измаил Иванович отличался безукоризненною нравственностью и полнейшим бескорытием». Образ этого необыкновенного человека явно вошел в то поле внешних и внутренних сил, которые сформировали характер и образ жизни самого Федорова. Он тоже стал учителем истории и географии, отличался особенным пристрастием к истории как предмету постоянных занятий, раздумий, переоценок. Собственно, все вышеназванные черты личности Сумарокова могут быть отнесены к Федорову, только в еще большей степени: самоотверженное отношение к своему делу, постоянная помощь нуждающимся, исключительная нравственная чистота, не говоря уже о близости религиозного и общественного идеала.

В начале июля 1849 года Федоровы закончили полный гимназический курс и в августе поступили в Ришельевский лицей в Одессе, Александр на физико-математическое отделение, а Николай – на камеральное. Лицей был создан в 1817 году, назван в память герцога де Ришелье, основателя Одессы. Первоначально преподавание в нем было приближено к гимназическому, но с 1837 года (по новому уставу) лицей отделился от гимназии, преобразовавшись в высшее учебное заведение университетского типа как по составу предметов, качеству преподавания, так и по правам самих лицейстов²⁵. Были открыты физико-математическое и юридическое отделения, получившие статус университетских факультетов. С 1841 года к ним прибавилось так называемое камеральное отделение, кстати, первое в России. Созданное на основе кафедры сельского хозяйства, оно готовило специалистов по естественным и хозяйственным наукам. В них чрезвычайно в эти годы нуждалось хозяйство края, и государственное, и частное. То, что молодой Николай Федоров выбрал именно это отделение, говорит о нем весьма выразительно: его влекла к себе не теоретическая, созерцательная, ученая карьера, а деятельность практическая, активно вторгающаяся в область экономических, жизненных нужд человека и общества. На камеральном отделении помимо общих для трех отделе-

²⁵ Позднее на базе этого лицея возник Новороссийский университет.

ний предметов – догматического и нравоучительного богословия, церковной истории, логики, психологии, этики, российской словесности, всеобщей и русской истории, французского, немецкого и английского языков – изучались политическая экономия с наукою о финансах, коммерция, физика и физическая география, химия, сельское хозяйство и лесоводство, естественная история, технология, обозрение русских законов, архитектура (факультативно). Для всех отделений был установлен трехлетний срок обучения.

Согласно разрозненным архивным данным Ришельевского лицея, Николай Федоров дошел до второго курса и сдавал за него экзамен весной 1851 года. Известны результаты этого испытания: 14 мая по истории новозаветной церкви – 5; 18 мая по истории русской литературы устно – 4, письменно – 2, общая оценка – 3; 22 мая по химии – 3; 25 мая по логике – 5; 2 июня по французскому языку устно – 2, письменно – 3, общая оценка – 3; по ботанике – 3. Далее на экзамены по всеобщей истории, обозрению русских законов, сельскому хозяйству, немецкому и английскому языкам Николай не являлся. Мы находим его фамилию и имя в перечне студентов, которым дана была возможность додержать экзамены. Далее в списках студентов ни 2-го, ни 3-го курса Федоров не значится. Сохранилось еще прошение его брата Александра от 28 ноября 1851 года «об увольнении его по домашним обстоятельствам». По тем же обстоятельствам, очевидно, в это же время или несколько раньше прекращает занятия в лицее и Николай²⁶.

Каковы же были эти обстоятельства? Мы знаем, что в гимназии обоих братьев содержал их дядя Константин Иванович Гагарин. Именно в 1851 году он умирает. Павел Иванович к этому времени окончательно разорен и живет с новой семьей в своем имении Сасово. Похоже, что со смертью Константина Ивановича братья теряют материальную возможность продолжать дальнейшую учебу.

Осень 1851 года – рубеж в жизни Федорова, внешне биографически он отмечен смертью дяди и уходом из лицея, внутренне – колоссальным переворотом. «Вопросы о родстве и смерти находятся в теснейшей связи между собой: пока смерть не коснулась существ, с которыми мы сознаем свое родство, свое единство, до тех пор она не обращает на себя нашего внимания, остается для нас безразличною; а с другой стороны, только смерть, лишая нас существ, нам близких, заставляет нас давать наибольшую оценку родству, и чем глубже сознание утрат, тем сильнее стремление к оживлению; смерть, приводящая к сознанию сиротства,

²⁶ Формально отчислить из лицея его могли несколько позже. Так, в «Аттестате», выданном Н. Ф. Федорову в связи с его уходом на пенсию, сказано: «Для дальнейшего образования поступил в Ришельевский лицей Камерального отделения, откуда, не окончив курса, выбыл 1852 года марта 19-го» (НИОР РГБ, ф. 657, к. 9, ед. хр. 102, л. 1 (копия в личном деле Федорова – Архив РГБ, оп. 126, д. 53, л. 99). Впервые аттестат был опубликован В. С. Борисовым: Борисов В.С. Уход Н. Ф. Федорова из Румянцевской библиотеки // Начала. 1993. № 1. С. 148–149.

одиночества, к скорби об утраченном, есть наказание за равнодушие...» (I, 140). Я предполагаю, что именно смерть дяди, человека, по воспоминаниям современников, мягкого и доброго (недаром именно он и заботился об Александре и Николае), явилась последним эмоциональным толчком, приведшим Федорова к открытию его главной идеи. Оба брата могли присутствовать и на похоронах своего родственника и благодетеля (здесь же могли увидеться, возможно после долгого перерыва, и с отцом).

«Если между сынами и отцами существует любовь, то переживание возможно только на условии воскрешения; без отцов сыны жить не могут, а потому они должны жить только для воскрешения отцов, — и в этом *только* заключается всё» (I, 419). Какой сгущенно эмоциональный аргумент, какое исключительное чувство! Самой своей *странной* радикальностью, уникальным оттенком оно изобличает какую-то сугубо индивидуальную пронзенность. Надо полагать, что Николай Федорович был привязан к дяде и должен был затаенно-болезненно любить отца, возможно, страдать, что не может быть рядом с ним, что у отца какая-то своя, далекая от него жизнь, повернувшаяся и вскоре кончившаяся так жалко и печально. В текстах Федорова не раз проскальзывает признание, что он остро пережил смерть близких («отцов») как буквальное им самим, его поколением совершаемое вытеснение предыдущей генерации, давшей ему жизнь: «Не понял этого Соловьев, конечно, потому, что смотрел на поглощение отвлеченно, сам такого состояния не переживал (а значит, пишущий эти строки переживал. — С. С.), и поглощаемые для Соловьева не были сыны, а поглощаемые — отцы, и долга сыновнего, т. е. воскрешения, Соловьев совсем не понимал» (I, 420).

Мысли о связи чувства родства и осознания смертности, несомненно, отражают личный опыт Николая Федоровича, и в 1851 году резкое смыкание этих двух переживаний и породило уникальную вспышку-озарение. «Эта Новая Пасха, т. е. Всеобщее воскрешение, заменяющее рождение, явилась осенью (1851 года)» (IV, 16). «Пятьдесят два года исполнилось от зарождения этой мысли, плана, который мне казался и кажется самым великим и вместе самым простым, естественным, не выдуманным, а самою природою рожденным! Мысль, что чрез нас, чрез разумные существа, природа достигнет полноты самосознания и самоуправления, воссоздаст все разрушенное и разрушаемое по ее еще слепоте и тем исполнит волю Бога, делаясь подобием Его, Создателя своего...» (IV, 165) — писал Федоров в последний год своей жизни, в октябре-ноябре 1903 года.

Двадцати двух лет Николай Федоров бросил вызов смерти, такой дерзновенный и окончательный, как никто из смертных за всю историю. Большинство живущих всеми силами старается закрыть для сознания беспощадную истину своего конца, отвлечение всякой мысли о смерти начинается с детства. Да и вся человеческая культура (в том числе и ее прародитель, продолжающий до сих пор существовать и самостоятельно, — религиозный культ) с определенной точки зрения —

изошренный и разветвленный результат компенсаторной защиты от смерти, защиты, требующей колоссальной энергии и отводящей ее, следовательно, от всяких попыток начать творческое воссозидание самой жизни. Федоров сразу резко отказался от любых защитных механизмов, вся энергичная мощь его существа направилась на поиски реалистического, созидательного выхода из нынешнего бессилия человека перед лицом смерти. Каким это типом «неудавшегося художника» (в своей заповедной психической глубине) мог быть Федоров, как это считает автор американской монографии о нем Стивен Лукашевич²⁷, когда он сознательно бежал всех чисто духовных, художественных форм восстановления жизни, обесмертвования ее мгновений и существ (искусство – «попытка мнимого воскрешения»), а все свое умственное и сердечное богатство мобилизовал на проект Дела преображения самой действительности. Не случайно Федоров не любил сна, особенно долгого, развяленного, расцвеченного сновидениями (а ведь сновидческая реальность и особые законы ее построения – один из тайных источников питания творческого акта): в них находит себе выход нерастраченная энергия, переработанные впечатления. Крутится вечная мельница, не мелет муки для хлеба нового, перелопачивает лишь влечения, страхи, надежды внутренней психодрамы смертного человека. «Сновидения должно причислить отчасти к болезненным явлениям, отчасти к праздной жизни. Они составляют проявление тех сил, кои не перешли в работу. Короткий, но крепкий, богатырский сон (без видений) предпочтительнее продолжительного, но не крепкого, прерываемого видениями сна. Сон должен быть интенсивный, а не экстенсивный. Жизнь бодрственная должна взять перевес над сонною, как жизнь деятельная над созерцательною. Созерцания, видения, мысли должны заменяться проектами, или, точнее сказать, участием во *Всеобщем проекте*» (I, 277).

На новом, предельно сознательном уровне Николай Федорович сохранил в себе (и развил) детскую установку по отношению к миру, которая в известной степени близка магической (как бы повторяя детство самого человечества): дети часто обладают чувством неуязвимости и всемогущества – раз *хотят*, значит, могут, *могут* повелевать явлениями и процессами мира, в том числе *не умирают*. Сказочное народное мышление тоже умеет делать эти замечательные скачки от желания к осуществлению. И хотя в сказке препятствий нагорожено чуть не бесконечно, но законы естества в самых своих неподдающихся, роковых (для обычного мира) сочленениях и моментах вдруг расступаются, и герой летит по воздуху, утишает бурю и, окропленный мертвой и живой водой, восстает из мертвых кусочков к жизни и счастью. Объективная причина уравнивается в силе и правах с той, что рождается горячим стремлением, волевым порывом. Более того, вторая, же-

²⁷ *Lukashevich S. N. F. Fedorov. A study in russian eupsychian and utopian thought. London, 1977.*

лательная причина оказывается могущественнее, а главное, несравненно человечнее, нравственнее в эффектах своей реализации, чем первая. Недаром позднее Федоров писал о необходимости как бы вернуться к тому *магическому*, детскому, сказочному, народному взгляду на взаимные отношения человека и слепой стихии, рокового хода вещей – но уже на положительной, преобразующей мир знанием и умением стадии.

Второе рождение

Если до своего духовного переворота Федоров, скорее всего, ничем резко от других не отличался, линия его существования уже была предначертана на достаточно привычных путях, то тут произошло истинно второе рождение к жизни уникальной, посвященной вначале глубоко потаенному служению одной Идее, ее продумыванию и развитию, сердечному и умственному испытанию. Когда через тринадцать лет, в марте 1864 года, Петерсон впервые встречается с Федоровым – и мы получаем первое документальное, историческое, так сказать, о нем свидетельство, – Николай Федорович уже давно ведет совершенно необычную жизнь монаха в миру, не стесняется ходить в потрепанной одежде, будучи при этом на *приличной* службе, живет аскетом, без обеда, спит без подушки, на голом сундуке... то есть совершенно естественно утверджен в своем образе поведения, юродивом, с обычной точки зрения. Но ведь был же момент выбора такой жизни. Когда-то Николай Федорович ходил, как все в его положении, в мундире то гимназиста, то лицеиста, нормально обедал и спал в постели... Явление Идеи совпадает с резким жизненным, бытовым переворотом, новым фундаментальным выбором: не попадаться в сладкую ловушку человеческого жребия, забываясь в автоматизме его исполнения – семья, дети, деньги, успехи по службе, благолепная кончина... Раскрытие «вещих зениц» освобождает от ига многого, в том числе от гипноза второй, после смерти, роковой силы, по Тютчеву – «суда людского». Выбор был сделан: аскетический подвиг в миру, служение людям и вызревание Слова для будущего явления миру Дела воскрешения.

В «Аттестате» Николая Федоровича, хранящемся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки, так отмечен следующий поворот его биографии: «По надлежащем испытании в Тамбовской гимназии, Высочайшим указом определен учителем истории и географии в Липецкое уездное училище с 1854 года февраля 23-го»²⁸. С этого времени вновь начинается документально зафиксированная полоса существования Федорова. Но между осенью 1851 года и началом февраля 1854-го, то есть два с половиной года, он ведет какую-то свою жизнь, нигде не служит и потому не оставляет никаких следов. Между тем это был наверняка пе-

²⁸ Румянцевский аттестат Н. Ф. Федорова // Начала. 1993. № 1. С. 148.

риод интенсивнейшей духовной жизни Федорова, время утверждения в новом выборе, когда шло мощное переоткрытие и переоценка всего. Излагал свое учение он последние тридцать лет, но все, что написано им, напоено мыслями, образами, пониманиями всей жизни, и первой ее половины особенно. Во второй возникает уже некоторая *заведенность* существования изо дня в день: служба в училищах, в библиотеке, в музее, изложение, пропаганда сложившегося учения, продуманных мыслей, найденных сравнений, проведенных анализов, нажитых впечатлений.

Эти два с половиной свободных года Николая Федоровича, между учебной и службой, в поле пронзившей его Идеи, начавшей невиданно располагать все предметы, события, отношения мира, культурные достижения и системы мысли, очевидно, были для него по-своему очень значительными. Устанавливался особый, никогда так не раскрывавшийся взгляд, уникальная родственно-отеческая и воскресительная *оптика*. Отверзлось пророческое зрение, им надо было сначала для самого себя заново пронзить весь мир, все окружающее, все воспоминания и впечатления, все изученное и читанное и вновь познаваемое. (К тому же в это время Николай Федорович, готовясь к сдаче экзамена при гимназии на право преподавать в уездных училищах, должен был усиленно заниматься географией и особенно всеобщей и русской историей, и прошедшие судьбы мира выстраивались теперь для него в картину по-новому цельную.)

В это время Николай Федорович еще очень молод, ему всего 22–24 года, пик жизненных сил, чувств, желаний, отзывчивости на мир; темпераментом он обладал страстным, почти неистовым, сохранившимся до старости (вспомним мощнейший эротический потенциал его отца)²⁹. В Федорове происходит как бы возгонка родотворных, как он выражался, энергий в силу его воскресительной мысли, в каждодневное подвижничество.

Федоров никогда не был женоненавистником, такое анекдотическое представление проскальзывало только у тех, кто слышал лишь какой-то *звон* о нем. Высочайшее представление о миссии женщины как «дочери человеческой» лелеял он. Но, пожалуй, никто так резко не обнажил суть культа женщины как идола общества «полового подбора» и полового соперничества, когда вокруг нее вращаются интересы, отвлекаются энергии «вечных женихов», на нее же работает про-

²⁹ Так, в дневниковой записи от 30 октября 1895 года (Федорову тогда было уже шестьдесят шесть лет) Сергей Петрович Бартенев, сын издателя «Русского архива», музыкант, а с 1902 г. – хранитель Московского Кремля, автор исследования об этой национальной святыне, передавая один из своих разговоров с Николаем Федоровичем, приводит такой любопытный пассаж:

« Я: Неужели, ведя такую жизнь, вы не терпели лишений, страдания?»

Н. Ф.: Да я себя никогда не насиловал. Мне совсем было нетрудно.

Я.: Я сдерживаюсь, но страдаю, если не имею женщин. Неужели вы не страдали?»

Он: Оставьте это.

Я: Я думаю, что воздержание кончается к сорока годам.

Он: (уходя в угол, покраснев, энергично) Никогда оно не кончается» (Д., 26).

мышленность «мануфактурных игрушек», а за сырье и рынки сбыта для этих товаров ведутся кровопролитные войны. Возможно, особая резкость этого неприятия в какой-то мере эмоционально связана с его отроческими и юношескими переживаниями. Отец столько служил этому идолу, требующему смен, остроты, новизны, и от него во многом и пропал. «...Потому-то в городах (Павел Иванович бежал от сельской тишины, от «дворянской девицы Елизаветы Ивановой» и сыновей в Одессу, Кишинев и, только приневоленный разорением и родственниками, вынужден был вернуться туда. – С. С.) и превращаются все от мала до велика, от колыбели до могилы в женихов и невест, жизнь ставит себе целью только удовольствие, смысл и цель жизни утрачивается». Кружение страстей, половое наслаждение – сладкая приманка Природы – накрепко зацепляет в свой капкан, примиряет с ее законом. Вместе с тем мыслитель родового долга и воскрешения всегда осуждал всякую позицию превозношения над *отцами*, от пороков «которых мы будто бы освободились», глубокомысленно-нравственно определив «нашу задачу, как сынов» – «не обличать, а искуплять грехи отцов» (II, 137).

Сам Николай Федорович выбрал полный аскетизм, целомудрие (пока, по его слову, лишь «отрицательное», но развивал идеи «положительного», то есть не просто девственного воздержания, а полного претворения бессознательной эротической энергии в воскресительные и творческие мощности). Федоров всегда жил один, отдавая всего себя работе мысли и слова, ученикам, посетителям библиотеки, всем нуждающимся в нем.

В каком-то сугубо личном, «слишком человеческом» смысле он может показаться одиноким, обделенным тем интимным, душевным общением, которое обычно дает семья, близкая женщина, дети... Но дело в том, что у Николая Федоровича был бесконечно дорогой ему Дом, где грелось его сердце, где он чувствовал себя среди «родных, а не чужих», – Храм. Не раз видели его на службах уже в московский период жизни в состоянии глубокой молитвенной сосредоточенности (один из вспоминающих говорит о «религиозном экстазе»). Церковь питала его чувством реальной причастности к проходящей через века, связующей живых и мертвых и уходящей в небо общечеловеческой общности.

Православная служба, церковный суточный и годовой круг с явлением Идеи раскрылись для Николая Федоровича в новом, активно-воспитательном духе, заветились глубинным и живым, для других еще до конца не раскрытым смыслом. Можно сказать, что в эти два года должно было идти первое, несущее радостное потрясение, открытие и усвоение этого смысла. Священную скрижаль, пророческое вещание о будущих путях всем сердцем и умом увидел и пережил он в основных моментах христианского богослужения. Главным открытием было, говоря его же более поздними выражениями, что «Христос есть Воскреситель, и христианство, как истинная религия, есть воскрешение. Определение христианства воскрешением есть определение точное и полное» (II, 42). «В Страстной Седмице и в

Пасхальной, принимаемой за один день, написан <...> полный нравственный кодекс, т. е. план, или проект воскрешения...» (II, 172). И свое учение Федоров называл «Новой Пасхой», излагал его в форме «пасхальных вопросов». Многократно он говорил о себе как о человеке, «воспитанном службою Страстных дней и Пасхальной утрени» (II, 169) или, чуть иначе, крестной и пасхальной седмиц. Об этом же пишет и Петерсон. Через него мы знаем, что для Николая Федоровича это были центральные моменты каждого года, когда он из мест своей подмосковной службы отправлялся, чаще всего пешком, в Москву, в Кремль, к священному алтарю предков, на всенощную в Успенский собор³⁰. Недаром позднее Федоров с такой страстью обрушился на Льва Толстого, называвшего Пасху «колдовством». За таким высказыванием надо поставить, писал философ воскрешения, не знак вопроса или изумления, а особый, еще не изобретенный грамматикой «знак ужаса». (Кстати, профессор И. А. Линниченко вспоминает, как Толстой, будучи в Румянцевском музее, решительно отказался пойти с ним и Стороженко в субботу перед Пасхой в Кремль.) Можно себе представить, насколько Николай Федорович, в отличие от Толстого, в эти светлые дни внутренне укреплялся на служение, какую радостную силу чувствовал в себе, сливаясь с народом, с толпой, как ликовал, наблюдал, думал...

И уж, конечно, личные впечатления питают его взволнованные описания, как на Пасху происходит настоящий исход всех живущих в городах к своему материнскому лону – в села, на кладбища родителей и дедов, к их могилам для совершения пасхальной трапезы, в которой поминовение получает особую надежду на восстание здесь лежащих. И не тогда ли должна была его пронзить мысль, что «именно кладбищенские-то храмы и суть истинные храмы, тогда как все остальные – как бы их заместители, подобно тому, как и антиминсы («вместостолы») суть заместители гробов, этих истинных столов поминальной трапезы для живущих, связанных любовью с умершими» (II, 59).

И весь православный обряд явился Николаю Федоровичу построенным, «можно сказать, по типу одного основного обряда – Страстной и Пасхальной седмиц, Пасхи Крестной и Пасхи Воскресной, в которой выражена самая сущность христианства» (II, 65). Так он восчувствовал этот обряд, так сам в нем участвовал, вкладывая в него завершительный смысл. Можно сказать, что в определенном смысле его учение вначале было прочувствовано и продумано в церкви, в целостной форме сознательно отправляемого религиозного действия, смысл которого он для себя раскрывал в свете активно-христианского идеала. (Время же начала записи уже цельного, сложившегося в душе и уме учения пришло только через четверть века.) Глубокое проникновение в дух обрядовых служб породило убеж-

³⁰ Одно из таких паломничеств (весной 1864 г.) Петерсон описал в своих воспоминаниях: *Петерсон Н.П.* Н. Ф. Федоров и его «Философия общего дела» // НИОР РГБ, ф. 657, к. 5, ед. хр. 7, л. 5 об.

дение: «религия есть совокупная молитва всех живущих о всех умерших». Так, всенощная – *панихида святым*, где вместо гроба с умершим ставится его икона, проскомидия – «принесение жертвы за всех умерших и живущих, <...> евхаристия – завершение панихиды и проскомидии, хотя и неполное; ежедневные службы церковные – поминовения или повторения погребений над теми, которые в тот день скончались или были погребены, причтены к праведным». И наконец, *величайшая служба*, апофеоз всех – Страстная седмица: «Истинный конец, истинное завершение, однако, имеет лишь погребение Христа; оно одно достигает цели» (II, 65), то есть восстановления жизни.

Тогда же должна была уже предноситься уму и сердцу Николая Федоровича идея внехрамовой литургии. Он задавался вопросом: «Почему же совершаемое в самом храме погребение не достигает цели, то есть возвращения умершего к жизни?» И давал себе ответ: «Конечно, потому, что внехрамовая жизнь есть взаимное истребление...» (II, 65). Проходя душевную и интеллектуальную школу храмового образования, глубоко сердечно укореняя в себе идеал преодоления закона *мира сего*, Федоров грезил о том времени, когда христианство из молитвы превратится в Дело, выйдет из храма, когда литургия вынесет свое тайнодействие в мир, станет реальным пресуществлением праха в живые преобразенные плоть и кровь. «Воспитывающая и научающая общему делу служба Богу в храме, суточная и годовая, найдет свое завершение в службе внехрамовой, совокупными силами в целом мире совершаемой, в литургии внехрамовой и во внехрамовой Пасхе всемирной» (II, 42).

Явившаяся ему Идея фокусировалась на убеждении, что люди призваны соделаться сознательно-активными орудиями воли Бога, Бога отцов не мертвых, а живых, желающего спасения всем. Мне кажется, эта идея возникла прежде всего из потребности разрешить противоречие, которое должно было раздирать все его существо еще с тех времен, когда в приходском и уездном училище он проходил катехизис: всеобщность спасения, разделение людей при устройстве конечных судеб на чистых и неизбывно нечистых, на прославленных и на вечно проклятых. Но какое блаженство возможно для первых в раю, если в аду мнутся извивающиеся в непередаваемой муке отверженные братья? Неужто еще и созерцать их страдания, наслаждаясь своей безгрешностью и праведной злобой, как то предлагал Тертуллиан? Разве возможен садизм в Царстве Небесном? Потрясенность фактом смерти и неродственностью этого мира могла родить из Федорова еще одну традиционно христианскую душу, он мог стать монахом, верить в воскресение и радость встречи, работать над собственным спасением и вымалывать его другим, но тут не было абсолютной уверенности, гарантии, что каждый его получит, а вот при участии всех людей в Деле искупления обреталась надежда на полный объем спасения.

Христиане своей активностью в мире, которая может дать им индивидуальное спасение, считают покаяние в грехах, молитву, ну и, конечно, добрые дела, притом что главным является именно *покаяние*. «Покайтесь, ибо приблизилось

Царство Небесное» (Мф. 3:2) – с этим призывом вышел на служение еще Иоанн Предтеча, приуготовляя род людской к скорому восприятию Благой Христовой Вести. И суть покаяния в своем истинном, онтологическом смысле будет явлена затем в Новом Завете: речь идет о радикальном *сокрушении* человека о себе как существе греховно-смертном, фундаментально-несовершенном, родово и лично, вольно-невольнo вовлеченном в зло вытеснения, вражды, убийства, об отречении от этой недолжной, послегрехопадной природы, с тем чтобы обратиться сердцем, умом, волей, действием к новому преображенному, бессмертному строю бытия, Царствию Небесному. Именно это евангельское, глубинно христианское понимание покаяния услышал Федоров и, оставаясь в привычных рамках *покаяния* (увы, суженных в расхожем понимании лишь до исповедания своих личных прегрешений и злых помыслов), он так неожиданно и точно их раздвигает – на всех и для всех: «Для нас воскресение есть лишь покаяние, но покаяние не словом, а делом» (II, 361).

В Ветхом завете особой надеждой для Николая Федоровича светилась Книга пророка Ионы, где наглядно явился условный характер сокрушительного Божьего пророчества, обернувшегося не фатальным приговором, а угрозой, которая, оказываясь, может быть снята при опамьтовании и покаянии. В Евангелиях он выделял притчи о блудном сыне и работниках последнего часа, дышащие духом всеобщего искупления. Но с особенной силой переживал он на Страстной неделе службу Великого Пятка, когда читается место в Евангелии о покаянии разбойника, сораспятого с Христом. Совершался великий, воистину многообещающий момент мистериальной истории, «день спасения разбойника и всего преступного человечества...» (II, 61).

Вчитываясь в Евангелия, переживая их события, Николай Федорович уносился воображением на берега Иордана, в сельскую Вифанию, в Иерусалим... Ему представляли целые живые картины, они впечатывались в какой-то его внутренний экран; позднее он, будучи известной, даже легендарной личностью Москвы, в деталях описывал свои видения, приглашая знакомых художников и поэтов, кому был дан талант живописания, воплотить их в картине или поэме. В евангельских образах и сцеплениях фактов он открывал новые связи, домысливал биографии отдельных лиц, тех, что имеют важнейшее смысловое, символическое значение в Новом завете. Так, ему казалось, что «благочестивый разбойник» был соотечественником и сверстником Христа, слушал Его Нагорную проповедь, был ею захвачен, но затем некие роковые обстоятельства скрутили его так, что стал он грабителем и душегубом, и когда Христос явил Свое высшее чудо воскресения Лазаря (а для самого Федорова и отношения Христа с Лазарем, единственным человеком, названным Им «другом», «другим я», и Его воскресение были самым волнующим событием евангельской истории, куда он часто уносился восстанавливающей прошлое мечтой), разбойник совершил страшное убийство, и на суде и на месте казни они оказались рядом. Художественное воображение Федорова строится здесь на контрастном параллелизме, рисует два, казалось бы, несходящихся

ряда – божественный и самый низменный, преступный, человеческий. Но «гениальное, чуткое сердце» разбойника признало Христа в момент предельного уничтожения и, в ответ на просьбу лишь помянуть его в Царствии Небесном, получает обетование: «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43). «Молитва разбойника пришлась по сердцу человеческому роду настолько, что, войдя на кладбище, из-за каждого креста, над каждой надмогильной плитой слышишь: “помяни, вспомни, не забудь, Господи!” В ответ на эту непрестающую мольбу, давно пора бы превратить кладбища в музей-школы» (II, 62).

Такой зов из-под каждой могилы, несомненно, слышал сам молодой Николай Федорович. В эти годы, когда его сердце и мысль повернулись целиком к умершим (к тем, кто понес последнюю очищающую меру наказания на земле – смерть), к кладбищам, он должен был много бродить по этим местам последнего упокоения. Позднее, уже выработав цельную систему своих необычных философских слов-категорий, он призывал рассматривать землю не как жилище, а как кладбище. «Если религия есть культ мертвых, то это не значит почитание смерти, напротив, это значит объединение живущих в труде познавания слепой силы, носящей в себе голод, язвы и смерть, в труде обращения ее в живородящую» (I, 73) – только так и надо понимать кладбищенский фокус его взгляда. Но до точного, рационального формулирования своего видения, своих идей и проектов Федоров должен был пройти – особенно интенсивно в первые годы после духовного переворота – период, я бы сказала, мечтательного их продумывания.

Возможно, что он вообще, особенно поначалу, внутренне даже противился попытке прямого, последовательного, категоричного изложения своего видения, ему казалось: оно такое верное и глубинно нравственное, что не может не прийти само в голову и не пронзить сердце каждого сына и дочери человеческих, и тем самым с залогом глубины и прочности. (Из этого убеждения Федорова эти странные его упреки великим – Канту, Гегелю, Гете, Ницше или Гоголю, как это они не мыслят и не творят в настоящей воскресительной логике?!)

Он давал волю своему творческому воображению; его обретения вошли в поздние тексты эмоционально-глубинным их слоем. На кладбищах, где царит запустение, где постепенно «рушатся не только гордые памятники богатых, но и могилы бедняков сравниваются с землею», в предвосхищающей грезе Николая Федоровича вставал другой уклад жизни: кладбище помещается в центре поселения, жители делают его «местом собрания, совещания», исследования, здесь же создается «музей со школой, учение в коей было бы обязательно для всех сынов и братьев, которых отцы, матери и братья погребены на этом кладбище» (I, 72), кладбищенский храм становится «соборным для приходских церквей своего участка, ибо литургия и пасха настоящее значение имеют только на кладбище» (I, 74). Глядя на памятники умершим, эти попытки хотя бы мнимо в искусственном творении воскресить их, ему представлялось, что эти памятники «изображают тот момент,

когда головы потомков Адама, выступившие из земли, ждут орошения животворящею кровью, чтобы ожить и восстать» (I, 74). Он тут же планирует и новый тип памятника, который более конкретно, более лично выражал бы основное христианское обетование. Пусть всюду на могилах стоят кресты, а Адамова голова внизу распятия будет заменена портретом умершего («с его деяниями, представленными символически»), тогда, «освященные в момент погребения смертью Христа, они, лицевые изображения, представят самое воскрешение» (I, 74). Должен быть у входа на кладбище и музей, в котором под единым распятием соберут лицевые изображения всех умерших, своего рода иконостас, «собор всех (местных) умерших отцов, требующий собора всех живущих сынов и обучающий их тому, что нужно делать» (I, 73).

Вспомним тот русский тип мечтателя, который возникает в раннем творчестве Достоевского, как раз в конце 1840-х – начале 1850-х годов, когда и реальный Николай Федорович где-то в провинциальной глуши, не знаемый никем, таил в себе грандиозную Мечту, заставлявшую мощно работать его проективное изображение. Интересно, что мечтатели Достоевского бьются выяснить для себя некую грандиозную и окончательную идею, словно надеются, что в осадок их взбалмученной душевной мечтательности наконец выпадет драгоценнейший кристалл идеала, который сумеет поразить и увлечь своим светом все человечество. (Такое *вселенское* направление их мечтательного порыва сплетается и с сугубо личным, когда они грезят о бесконечных личинах собственных превращений, ткнут в воображении ленту жизни нескончаемой – сквозь различные эпохи и судьбы, – полной славы и неги.) Но вся эта изнурительная душевная работа как-то чрезвычайно неопределенна и туманна и оттого клубится пустой призрачной избыточностью, бесплодно прокручивается на какой-то оси, словно их натуре не хватает важнейшей конкретной насечки, которая дала бы четкое движение и результат. Николай Федорович рядом с этими литературными героями – мечтатель совершенно особого склада. Он уже нашел эту всеразрешающую Идею и теперь сосредоточен на ней. Она как бы вставилась в глаз Федорова, дав ему новый фокус взгляда на мир, раскупорив в нем силу поэта-визионера, мечтателя и пророка. Но все открытия, шедшие в его потаенной глубине, он не хотел воспринимать как только свои; ему представлялось, что то же чувствует, не умея осознанно выразить это, и масса *неученого*, патриархального народа.

Николаю Федоровичу отвратительно было оказаться в обособленной, превозносящейся своими знаниями, талантом и положением касте *ученых*, хотя бы тех же писателей, что считают себя вправе «обличать, карать наши пороки». С самой юности ему претило то критическое, обличительное направление, которое преимущественно приняла русская литература, начиная с 1840-х годов. «Наша литература – бич России» – так резко определил Федоров. В ней он видел поношение человеческой природы, выражение неродственности со стороны писателей. Затолкав

человека мордой в грязь, обличительная литература не думает указывать ему: а что же ему дальше, этакой образине, делать, как и зачем оттуда вылезать. «Если казнить, быть палачом зазорно, то казнить словом, предать вечной казни в картине или книге – почетно и даже заслуживает высших почестей! И вот уже 60 лет, как нас бичуют, бьют, бьют по голове, по груди, по чем попало, называют нас собакевичами, маниловыми, ноздревыми, коробочками, землю нашу темным царством, города – Глуповыми, поселян – подлиповцами; бьют так, что в нас не осталось ничего здорового. “И по чем еще вас бить?” – спрашивают эти гордые пророки... А мы, всегда забытые, никогда не признававшие своего достоинства, взываем к ним: “да, мы гадки, отвратительны сами себе, но скажите же наконец, что нам делать?” Но эта школа бичевания для бичевания, гордая своими открытиями наших пороков больше, чем Колумб открытием Нового Света, ничего не умеет и не желает найти, кроме порока» (II, 368). Федоров избрал для себя другой путь: увидеть лучшее, что есть в народном чувстве и мечте, в отношении к миру, в укладе жизни. Для него, скажем, моления народа о дожде, крестные ходы по полям с чудотворными иконами во время засухи (а их он не раз наблюдал в детстве и юности) – вовсе не то дикое суеверие, над которым надо издеваться, как это делала интеллигентная русская публика, а своего рода *магическая* попытка вызывать «дождь и ведро» по своему желанию, то есть как бы управлять силами природы. Федоров писал о «крайне легкомысленном отношении ученых и особенно художников к крестьянскому делу и к той именно его области, которая еще недоступна труду и доступна пока лишь молитве»: забыв «свое родство с народом <...> не понимает уже (эта «школа бичевания». – С. С.), что явления чудотворных икон вызываются такими страданиями, против которых нет пока другого средства, кроме чуда» (II, 368). (Кстати, вызвали эти рассуждения Федорова два увиденных им этюда Репина к его знаменитой картине «Крестный ход» – «Протодиакон» и «Чудотворная икона».)

Приобретя колоссальные знания, будучи в самой полной степени *ученым*, Федоров остался душой с *неучеными*, заговорил от их лица, от их имени, их голосом, но доведенным до высочайшего градуса сознания. И без всякого кокетства, напрашивающегося на опровержение, сугубо серьезно позднее обратился «от неученых к ученым». Это никоим образом не было моментальной писательской находкой, он не выдумал себе такую форму изложения своих идей; нет, таким он себя выпестовал всей предыдущей жизнью. Быть с народом, оставаться в его анонимной массе, духовным подвигом вникания и творчества найти самые точные, самые пронзительные, самые убедительные слова для выражения чаяний веков и поколений – было частью его фундаментального выбора, сложившегося в самом начале 1850-х годов.

Новым смыслом зажглись для него в эти годы евангельские глаголы, открылся в них заповедный призыв к активности человека, к исполнению Божьей воли в главном: в преодолении греховного порядка существования и созидании

бессмертного, преображенного, божественного типа бытия. Его пронзило Христово: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит и больше сих сотворит» (Ин. 14:12), а размах дел Его был всеобъемлющ: включал не только нравственную проповедь (так прежде всего и опознали Его дело), но и управление силами природы (утишал бури, ходил по водам), исцеление больных и, наконец, Его Дело дел: воскрешение из мертвых. Эти слова Христа остались на всю жизнь Николая Федоровича самыми важными и любимыми. А в удостоверении Христа «Отец Мой доньше делает, и Я делаю» (Ин. 5:17) Федоров увидел дополнение к своему любимому изречению: здесь не только выявлялась активная, творческая сущность Бога, но и человек, созданный «по Его образу и подобию», приглашался к развитию в себе таковой. Среди программных заповедей Евангелия для Федорова важнейшее значение имели две: призывающая к единству, к *братотворению* весь род людской «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17:21) и завершительная, данная Христом ученикам после воскресения, заповедь научения: «Шедше научите вся языки, крестяще во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19). Позднее Федоров писал, что само содержание научения не дано здесь Христом, а как бы оставлено на вызревание в самом человечестве. Перед Николаем Федоровичем, когда ему предстала его Идея, дававшая это содержание, должен был возникнуть вопрос, куда же ему самому идти для начала, кого учить, какие «языки». Конечно, внутренне самым главным было собственное углубление в идею, созидание целостного учения, но тут же вставала и необходимость какой-то формы миссионерства, пусть и самой прикровенной. Для него этой формой стала школа, причем школа начальная, дающая первое направление душе и уму; он пошел к детям, к тем естественным носителям детского чувства родства, которое для Федорова было критерием нравственности. «Возвратить сердца сынов отцам» (Мал.4:6), причем в самом полном смысле – всем когда-либо жившим предкам, населявшим эту землю и творившим ее историю, – вот тот основной внутренний переворот, который должен произойти в людях; в преподавании географии и истории молодой Николай Федорович и пытался начать непосредственно на живых детских душах конкретную работу в этом направлении. Такое сочетание мыслительной разработки вселенских преобразовательных проектов с обязательной, тут же выходящей в жизнь практической инициативой, пусть *малой*, но озаренной и поднятой Идеей, было свойственно деятельности Федорова до конца.

Школьный учитель

В Липецком уездном училище Николай Федорович проработал три года, до 27 февраля 1857 года. С октября 1858 года он определен учителем истории и гео-

графии в Богородское уездное училище (одновременно он преподает те же предметы в женском училище 2-го разряда). Из Тамбовской губернии Федоров перемещается в Московскую (в нынешний Ногинск). С 1864 года его существование получает исторического свидетеля. Основные фактические сведения, касающиеся этого периода его жизни, можно почерпнуть из воспоминаний Николая Павловича Петерсона, хранящихся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Петерсон запомнил не только год, но день и час, когда он впервые увидел Николая Федоровича и провел с ним сразу почти целые сутки.

Несколько слов о самом Петерсоне. Он родился в 1844 году в дер. Барановка Краснослободского уезда Пензенской губернии, окончил Пензенскую гимназию и Пензенский дворянский институт и в 1861 году поступил в Московский университет на историко-филологический факультет, откуда почти сразу же выбыл по недостатку средств для учебы. Семнадцатилетний Петерсон оказался самым юным из двенадцати учителей, набранных в начале 1862 года Л. Н. Толстым для его народных школ. Характеризуя их, Лев Николаевич писал А. А. Толстой: «Каждый приезжал с рукописью Герцена в чемодане и революционными мыслями в голове. И каждый без исключения через неделю сжигал свои рукописи, выбрасывал из головы революционные мысли и учил крестьянских детей священной истории, молитвам и раздавал Евангелия читать на дом. Это факты»³¹. Но Петерсон, казалось, опроверг необратимость подобной метаморфозы. В деревне Плеханово он проработал недолго – уже поздней весной 1862 года стал секретарем журнала «Ясная поляна», а с осени – домашним учителем воспитанника С. Н. Толстого в Туле. В начале 1863 года вернулся в Москву и спустя полгода вновь поступил в число студентов Московского университета, теперь уже по медицинскому факультету. Тогда же сблизился с кружком ишутинцев, в который входили в основном его товарищи по Пензенской гимназии и дворянскому институту, в том числе и Дмитрий Каракозов, совершивший 4 апреля 1866 года неудачное покушение на Александра II. Оставив учебу за два года до этого события, Петерсон отправляется в Богородск учителем арифметики и геометрии, но, как сам он отмечает в своих воспоминаниях, целью его «приезда была пропаганда революционных идей и устройство революционного кружка»³². Прибыв в этот городок 15 марта 1864 года, нетерпеливый, горящий желанием немедленно начать свою пропагандистскую деятельность молодой Николай Павлович (ему не было полных 20 лет) тут же отправляется к человеку, о котором он уже успел прослышать как о местной знаменитости, личности удивительной. То, что рассказывали о нем, – не только не стремится к благам собственнического, мещанского мира, но и вовсе

³¹ Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 60. М., 1949. С. 437.

³² Петерсон Н.П. Николай Федорович Федоров и его «Философия общего дела» // НИОР РГБ, ф. 657, к. 5, ед. хр. 7, л. 1.

от них отказывается, живет скудно, совсем аскетом, все раздает бедным ученикам, как-то особо, нерутинно ведет преподавание – заставляло надеяться: в нем он найдет себе соратника! К тому же было произнесено имя, которое уже год заставляло сильнее биться сердца соратников Петерсона и его самого: «похож на Рахметова!».

Каким же внешне предстал этот необыкновенный учитель нашему пропагандисту? Николаю Федоровичу тогда было тридцать пять лет, но юному Петерсону он показался старше: «Он был тогда лет сорока, красивый брюнет, среднего роста, с прекрасными карими глазами, а не с голубыми, как говорит Илья А<ьвови>ч Толстой в своих воспоминаниях»³³. Это единственный портрет Федорова относительно молодого возраста, все остальные, довольно многочисленные описания его наружности относятся ко времени его службы в Румянцевском музее, когда ему было уже за шестьдесят и он вырос в заметную, даже легендарную фигуру Москвы.

Николай Павлович тут же обратился к Федорову со страстной речью, призывая его принять участие в борьбе за уничтожение материальной бедности, за социальную справедливость. Первые слова, которые произнес Николай Федорович, внимательно выслушав Петерсона, запомнились последнему на всю жизнь: «Не понимаю, о чем вы хлопчете? По вашим убеждениям, все дело в материальном благосостоянии, и вот ради доставления материального благосостояния другим, которых не знаете и знать не будете, вы отказываетесь от собственного материального благосостояния, готовы пожертвовать даже жизнью. Но если и тем людям, о которых вы хлопчете, материальное благосостояние так же неважно, как и вам, – о чем же вы хлопчете?»³⁴ Этот неожиданный довод пронзил Петерсона той простотой, которую сравнивают с правдой. Уже начальной фразой Федоров показал, что и сами революционеры, жертвуя своим довольством, внутренне не признают его высшей ценностью и что такого рода общественная справедливость не может быть и высшим чаянием человека. Так Николай Федорович сразу вывел разговор на уровень выяснения того, что есть высшее благо и, следовательно, наибольшее зло как его противоположность. В своем дальнейшем рассуждении он обратился к тому ценностному ядру, которое громко прозвучало в лозунгах Великой французской революции: Свобода, Равенство, Братство. В них обличается «крайнее недомыслие и легкомыслие» их авторов, – заявил Федоров, – потому что провозглашаемый идеал братства никак не может произойти «из свободы следовать своим личным влечениям, исполнять свои прихоти и из завистливого равенства»³⁵. Такие «свобода» и «равенство» приведут (да и в самой этой революции привели) лишь к разъединению, вражде и братоубийственной борьбе. Что вообще значит

³³ Петерсон Н.П. Николай Федорович Федоров и его «Философия общего дела» // НИОР РГБ, ф. 657, к. 5, ед. хр. 7, л. 1 об.

³⁴ Там же.

³⁵ Там же.

свобода? – поставил вопрос Федоров: «Руссо говорит, будто все люди рождаются свободными. Но на что свободными? <...> На то, чтобы умереть? Новорожденный без забот о нем непременно должен умереть; а всякая о нас забота налагает на нас обязанности в отношении заботящихся о нас, делает нас несвободными в отношении наших близких»³⁶.

В этой первой беседе Николай Федорович развивал некоторые из своих идей применительно к человеку нехристианского (в то время) сознания. Петерсон пришел к нему с убеждениями своего поколения, признававшего – в философском плане – действующей в мире лишь материю, в ходе эволюции которой возник совершенно естественно и человек. Но, оказалось, и такое представление при дальнейшем нравственно-духовном в него углублении таило в себе неожиданные повороты и неподозреваемые выводы: «Если это так, если путем эволюции материя и присутствующие ей силы дошли до создания существа, носящего в себе разум, с которым явилась в мир новая сила, способная комбинировать все другие силы, ставить их в различные сочетания, способная располагать, управлять теми самыми силами (свойствами материи), которые и без разума дошли до создания всего, что мы видим, создали самого человека, чего же не создадут эти силы с разумом?! Все эти силы и после явления в мир разума никуда не исчезли, не могли исчезнуть и продолжают свою обычную деятельность, остались такими же, как и были, т. е. созидательными и в то же время разрушающими ими же созданное, рождающими и в то же время умерщвляющими ими же порожденное. Но созданный этими силами человек – носитель разума – не может не сознавать бессмыслицы создания для того, чтобы

³⁶ Петерсон Н.П. Николай Федорович Федоров и его «Философия общего дела» // НИОР РГБ, ф. 657, к. 5, ед. хр. 7, л. 1 об. В своих показаниях по делу Д. В. Каракозова, данных 17 мая 1866 г., Петерсон так рассказывал о своей первой встрече с Федоровым: «В марте <...> я отправился в Богородск, исправляющим должность уездного учителя. Моею обязанностью было там: приобрести как можно большее знакомство для выбора людей, пригодных для нашего дела; стараться преимущественно привлекать к этому делу людей богатых, которые могли бы много жертвовать; и потом вообще я обязан был пропагандировать. В первый же вечер я отправился к учителю истории и географии Федорову и почти первыми моими словами были: “Выписываете ли Вы какие-нибудь журналы, например ‘Современник’?” “‘Современника’ не выписываем” – ответил. Я предложил было выписать сообща, но он сказал, что незачем и доказал мне всю пустоту этого журнала и несостоятельность его идей. Доказал мне он все это на том самом произведении, которое считалось нами лучшим во всем “Современнике”, а именно на романе Чернышевского “Что делать”. Его ум, знания, перед которыми мои были ничто, да и не мои одни, но всех моих товарищей, меня поразили и я ему сознался во всем. Ему не слишком трудно было доказать мне, что революционные действия ведут только общество к порче, потому что эти действия и могут только держаться подобными средствами, как те, которые высказываются в польском катехизисе: что делая подлости для достижения какой-нибудь общей цели, человек невольно делается подлецом во всех отношениях; да и наконец, что дурными средствами нельзя достигнуть никакой другой цели, кроме дурной. На Пасху я отправился в Москву совершенно увлеченный мыслями Федорова. Когда я приехал к своим товарищам, то начал говорить против их затей. Они, конечно, удивились неприятно, ожидая меня совсем не с такими вестями» (Д., 230).

созданное было разрушено. И неужели же роль разума должна ограничиться только созерцанием совершающегося, созерцанием мира, каков он есть? В таком случае зачем же разум нужен миру, зачем он явился в мир, если и ему, как и всему в мире, предстоит бесследное исчезновение? И может ли человек остаться пассивным, придя к такому сознанию, примириться с ним? Человек – существо не разумное только, но и чувствующее, а также и способное к действию; человек не только сознает бессмыслицу создания для разрушения, но и чувствует боль разрушения, страдает от потери близких. Куда же он направит свою деятельность, если не на избавление от претерпеваемых им страданий? Для эволюционистов, т. е. *верующих* в эволюцию, <...> разум в экономии природы никакого значения не имеет и иметь никогда не будет, – эволюционисты не сомневаются, что человек всегда будет смертен и никогда не перестанет смотреть на природу только как на кладовую, откуда можно добывать средства, но не для обеспечения своего существования, а лишь для удобств временной жизни и наслаждения, и всегда будет истреблять и расточать накопленные в ней богатства; т. е. эволюционисты смотрят на человека с его разумом как на агента, способствующего разрушению мира, ускоряющего неизбежный конец его. По мысли эволюционистов, род людской всегда останется разделенным на враждебные друг другу народы и сословия, никогда не объединится и не сделается в качестве носителя разума силою правящею, регулирующею, вносящею в действие мировых естественных сил порядок, закономерность, целесообразность, никогда не сделается силою созидающею»³⁷.

Петерсон не просто заинтересовался необычными мыслями, идущими вразрез с тем, во что он верил в своем кружке и что господствовало в воздухе эпохи, – он был поражен. Почувствовал за словами Федорова настолько более истинный уровень понимания природы зла и блага, назначения человека в мире, что тут же неудержимо потянулся к этому человеку, который лишь слегка приоткрыл ему свои внутренние богатства. Произошло настоящее, почти моментальное обращение. Действовала и сила умственной убедительности, необычный, но и совсем простой взгляд на вещи и огромная духовная мощь, исходившая от богородского учителя. Они заговорились за полночь, Петерсон остался у Николая Федоровича ночевать, спал, как и хозяин, на голой лавке, без подушки.

С этого дня они почти не расставались, шли вместе в училище, а после занятий, отобедав дома, Николай Павлович отправлялся к своему новому наставнику, они гуляли и беседовали, потом вместе пили чай и опять говорили, расходясь уже глубокой ночью. Петерсон вспоминает, как на Страстной неделе, в среду, они вдвоем в час дня отправились пешком в Москву (такое путешествие на Пасху сам Николай Федорович совершал каждый год), заночевали в селе и на следующий

³⁷ Петерсон Н.П. Николай Федорович Федоров и его «Философия общего дела» // НИОР РГБ, ф. 657, к. 5, ед. хр. 7, л. 2–2 об.

день были в Москве, которая еще на своих далеких окраинах встретила их ударами колоколов. Николай Федорович при этом заметил своему спутнику, что этот звон слышен всю ночь с четверга на пятницу³⁸. На выносе плащаницы они были в Успенском соборе, где служил любимым Федоровым митрополит Филарет. Тут же мы узнаем интересную деталь, связующую родственные концы федоровской биографии: «На Пасху Н<иколай> Ф<едорови>ч познакомил меня с Полтавцевыми. Полтавцев – известный актер Малого театра – был женат на родной сестре Н<иколая> Ф<едоровича>, которую звали Елизавета Павловна, и Н<иколая> Ф<едоровича> называли у Полтавцевых Николаем Павловичем. Почему это так, я тогда не знал, спросить об этом Н<иколая> Ф<едоровича> не решался, – о себе он никогда ничего не говорил»³⁹. В это время, как нам известно, у Полтавцевых жил и юный Александр, будущий Ленский, сводный брат Федорова, и они, очевидно, должны были знать друг друга и встречаться здесь.

За время тесного общения в Богородске обоих Николаев (к тому же, по существу, и обоих «Павловичей») старший последовательно вводил своего тезку в совокупность уже сложившегося учения. Излагал ли он кому еще до этого свои идеи, мы не знаем. Остается предположить, что это был первый настоящий ученик Федорова, ему он передал то, что выработал уже более чем десятилетним размышлением над той главной идеей, что открылась ему осенью 1851 года. Эти плоды душевной, рациональной, интуитивной работы пока не были занесены на бумагу. Но вот они уже проговаривались в цельный устный текст. То, что таилось внутри одного человека, одного сердца и ума, вышло на свет божий, впервые связно, убедительно, пространно *прозвучало*. Из воспоминаний Петерсона мы узнаем, что Федоров развил ему свое учение о воскрешении как деле всего рода человеческого, о братстве и небратстве, о регуляции природы, о некоторых конкретных ее проектах, в том числе об управлении земным шаром, о необходимости выхода человека в небесное, космическое пространство, о преобразовании организма самого человека... «Николай Федорович недолго пробыл при мне в Богородске, – рассказывал позднее Петерсон, – всего месяца три: но эти три месяца обогатили меня больше, чем вся предшествовавшая жизнь, и дали прочную основу для всей последующей жизни. Эти три месяца совместной жизни с Николаем Федоровичем сделали то, что я не терял уже с ним связи никогда, и мы ежегодно, почти до его смерти проводили вместе наше вакационное время; когда были вместе, то не беседовали только, но и писали, т. е. я писал под диктовку Николая Федоровича. Мне

³⁸ В Великий четверг вечером на так называемой службе Страстям Христовым читается двенадцать отрывков из Евангелий, где повествуется о земном финале жизни Христа от эпизода в Гефсиманском саду до положения во гроб после распятия. Чтения перемежаются колокольными ударами.

³⁹ Петерсон Н.П. Николай Федорович Федоров и его «Философия общего дела» // НИОР РГБ, ф. 657, к. 5, ед. хр. 7, л. 5 об.

хотелось сделать известным покорившее меня учение Николая Федоровича, я думал напечатать изложение этого учения, но Николай Федорович всегда противился этому, находя это несвоевременным и самое учение недостаточно развитым, не вполне и ясно выраженным»⁴⁰.

Через Петерсона стал известен образ жизни Федорова в эпоху его преподавания: суровое самоограничение, исключительная добросовестность в работе (после уроков он каждый раз дополнительно занимался с отстающими), мужественное отстаивание интересов учеников, помощь самым бедным из них. От него же пошла кочевать и первые житийно окрашенные истории, входящие в федоровскую легенду.

Так, писавшие о Федорове любят приводить следующий, особенно живописно-наглядный эпизод. Однажды тяжело заболевает отец одного из учеников Николая Федоровича. Средств на лечение нет, и учитель отдает для этой цели все, что у него было. Когда больной все же умирает, оказывается, что и похоронить его не на что. Тогда Федоров продает свой единственный вицмундир, выручка идет семье покойного. На урок он является в ветхой, почти нищенской одежде. Как нарочно, в этот самый день в училище приезжает столичный начальник. Он крайне шокирован видом преподавателя, тщетно пытается добиться от него объяснений и, негодуя, требует его немедленного увольнения. Только горячее заступничество инспектора училища ограждает на этот раз странного оригинала.

Кстати, и ушел Николай Федорович из Богородского училища в конце июня 1864 года в результате подобной же истории. На очередную ревизию прибыл в училище директор 1-й Московской гимназии Малиновский, он был прямым начальником, назначал и увольнял учителей уездных училищ. Явившись на урок к Федорову, он был неприятно поражен его костюмом (хотя на этот раз тот был одет в форменную одежду, но поразительно бедную), начал придирается к ответам учеников, не пожелал выслушать объяснений учителя о его особой системе преподавания и опроса. Николай Федорович покинул класс, оставив Малиновского наедине с учениками, и тут же подал прошение об отставке. К чести самого директора гимназии, он не принял этого прошения, после того как ему раскрыли глаза на то, что за необыкновенный человек и преподаватель Федоров. Но тот и сам после этого инцидента не пожелал оставаться в Богородске и перевелся в Углич Ярославской губернии.

В чем же заключалась необычность федоровского метода преподавания истории и географии, тех предметов, которые, по его убеждению, должны были дать детям первые и самые необходимые сведения о мире? Это прежде всего принцип

⁴⁰ *Петерсон Н.П.* Н. Ф. Федоров и его книга «Философия общего дела» в противоположность учению Л. Н. Толстого «о непротивлении» и другим идеям нашего времени. Верный, 1912. С. 85.

активного участия самих учащихся в познании. Учебники Николай Федорович не считал основной формой обучения, заменял их общей программой, планом, а собственно материал знаний добывался учителем вместе с учениками, его сотрудниками, – из непосредственного изучения родного края, его географических особенностей, растительного и животного мира, его истории, запечатленной в местных памятниках, из наблюдений над природными явлениями.

Само звездное небо становилось первым, волнующим воображение учебником. Вспоминает Петерсон: «Прежде объяснения, что такое полюс, ученикам указывалась полярная звездочка, и они уже сами видели, наблюдая по вечерам, что эта звездочка остается на месте, а все остальные перемещаются вокруг нее. Во время осеннего и весеннего равноденствия указывался ученикам тот круг, который делало за это время солнце, и таким образом давалось понятие об экваторе и т. п.»⁴¹. Будущую школу, призванную готовить участников «космической жизни», а не нынешней «рыночно-гражданской», Федоров представлял с вышкой для постоянных наблюдений. «Закрыв от себя небо, нынешняя (городская) школа может быть уподоблена каюте, в которой пассажиры остаются во все время переезда через океан. Наше же образование может быть уподоблено выходу на палубу. <...> Частое пребывание на палубе (т. е. на вышке) даст учащемуся почувствовать себя пловцом, то прорезывающим своим движением на земном корабле хвосты комет и осыпаемым целым ливнем падающих звезд, то плывущим через пустыню неба, где лишь изредка упадет несколько капель космической материи или пыли» (I, 261). Так школа будет воспитывать в своих питомцах планетарное, космическое чувство, открывать им эволюционное призвание человека разумного – «считать землю только исходным пунктом, а целое мироздание поприщем нашей деятельности» (I, 262).

И хотя в Богородском училище никакой вышки не было, а проекты радикально новой ориентации образования оставались в голове странного учителя, он тем не менее, сколько мог, пронизывал свою практическую деятельность светом своего философского и нравственного Идеала. Позднее, оглядываясь на этот период, Николай Федорович писал: «...я должен был обучать истории светской, русской и всеобщей, и обязан был ей, почитаемой за предмет роскоши, за предмет ненужный, придать значение священное...» (II, 72). Преподавание истории тесно связывалось с географией, которая раскрывалась им как отеческая, *патристическая* область знания. Неотделимость географии от истории – это нераздельность пространства и времени, пространства земли, где живут и жили люди, мы сами, наши родители и предки, и толщи протекшего времени, поглотившего и поглощающего всех живущих. «Для преемников Нестора география не замедлила отделиться от истории, несмотря на то, что обе эти элементарные науки должны составлять

⁴¹ Петерсон Н.П. Николай Федорович Федоров и его «Философия общего дела» // НИОР РГБ, ф. 657, к. 5, ед. хр. 7, л. 5.

неразлучное начало всякой школы <...> География говорит нам о земле как о жилище; история же – о ней же как о кладбище» (II, 212).

Вряд ли Николаю Федоровичу удавалось провести главный свой воспитательный принцип, требующий возвращения сердец сынов к умершим предкам и отцам, к кладбищам, так радикально, как сам он определял позднее: «И почему воспитание не начинается у могил прадедов или прапрадедов, почему не начинается с сознания, что он, ребенок, не сын только живых родителей, но и внук, правнук умерших дедов или прадедов. На праздные вопросы ребенка о рождении, о начале, можно бы было обращать его внимание *на конец*. Почему педагогика нынешняя игнорирует вопрос о конце?.. Потому-то наше воспитание и лишено всякой серьезности, не имеет прочной основы. <...> Школа есть произведение *рационализма*, т. е. *отрицания отечества*, и будет воспитывать *не сынов*, пока не восстановит поминальных дней, пока не обратит истории в синодик, а географии в описание не жилищ только, но и кладбищ, т. е. школа будет воспитывать не сынов, пока она не будет музеем» (I, 355). Но все же в какой-то доступной ему мере он пытался положить в основу своего преподавания, которое он соединял с нравственным воспитанием детей, прежде всего начало родственности.

Чувство родства, как постоянно подчеркивает Федоров, это самое естественное, первичное чувство, которое знает каждый ребенок, более того, в самом раннем возрасте для него все взрослые – дяди и тети, все родные. Правда, вскоре сами взрослые, воспитатели *успешно* вводят ребенка в жесткую реальность всеобщей отчужденности и неродственности. Николай Федорович стремился как бы восстановить это изначальное, еще чистое детское чувство, но уже на новой, сознательной основе: он начинал изучение географии и истории обязательно с родного кусочка земли, с самой малой родины, с отцов, дедов и прадедов самих учащихся, постепенно расширяя обзор, распространяя далее – на большую родину, наконец на весь мир – обретенное теплое, живое, личное отношение («*поддерживать общение каждого с родиною и готовить к изучению ее, как части вселенной*, так что связь с родиною будет не в ущерб и вселенскому союзу и собору» – I, 355).

То же начало родственности, *усыновления*, если хотите, культивировал Николай Федорович в отношениях к своим ученикам, изгоняя из них всякий след формального принуждения, настаивая на добровольности и чисто нравственном примере. Когда он писал позднее, что «учитель добрый душу свою полагает за детей», – эти слова могут быть отнесены и к нему самому. Ответная любовь и память о нем учеников напоминает те благоговейные чувства, которыми был окружен Измаил Иванович Сумароков. И это тем более замечательно, что в отличие от Сумарокова, гимназического учителя истории, сам Федоров занимался с младшими школьниками, еще, как правило, не вошедшими в тот возраст, который сохраняет по-настоящему сознательный след сильного, формирующего влияния. В. А. Кожевников свидетельствует: «Нам известны не только благодарные вос-

помятия о нем его бывших учеников, но и едва ли часто встречающийся случай, когда один из таковых, не выдавший его многие годы после окончания школы, сам уже в немолодом возрасте, в тяжелую минуту жизни, в поисках не за материальною, а за нравственною помощью, не нашел ничего лучшего, как издалека обратиться к нему за важным советом исключительно под влиянием ранних впечатлений о нем как о совершенном наставнике»⁴².

В Богородске Федоров проработал шесть лет, здесь научились ценить необычного учителя, любили его, всячески ограждали от высшего начальства, наезжающих инспекторов, недоуменно, а то и грозно реагиовавших на его систему преподавания, да и на самый его облик. Труднее оказалось ему на новых местах. Недаром за последующие два года Николай Федорович меняет несколько мест службы: через полгода он уже увольняется из Угличского училища (каникулярное время проводит еще в Богородске с Петерсоном), а затем после десятимесячного перерыва в работе поступает на свою обычную должность в Одоevo и через три месяца, 26 ноября 1865 года, переводится в Богородицк Тульской губернии.

А до этого Николай Федорович побывал летом 1865 года у Петерсона в Бронницах, куда тот переехал из Богородска, не желая там оставаться без Федорова. Тут произошел любопытный эпизод: Петерсон внутренне бесповоротно расстался с революционной деятельностью, но дружеских связей с некоторыми членами кружка не прерывал и пригласил к себе в Бронницы в это же время «самого даровитого» из них Петра Ермолова, надеясь, что и с ним может произойти обращение в новую веру под влиянием бесед с Николаем Федоровичем. Чуть позднее на процессе Каракозова Ермолов будет среди самых важных подсудимых после Каракозова и Ишутина. По воспоминаниям адвоката Д. В. Стасова, защитника Николая Ишутина, это был чуть ли не самый молодой из всех участников кружка, 17–18 лет, «небольшого роста, худенький, чрезвычайно милый, с прелестными глазами, симпатичным голосом, он на всех производил самое приятное впечатление...»⁴³. По достижении совершеннолетия он собирался пожертвовать все свое довольно большое состояние (около 30 тысяч) на революционное дело и уже сейчас истратил все, чем пока располагал, на нужды кружка, тысячи две⁴⁴. Но, вспоминает Петерсон, Федорову не удалось переубедить этого чистого и самоотвер-

⁴² Кожевников В.А. Николай Федорович Федоров. Опыт изложения его учения по изданным и неизданным произведениям, переписке и личным беседам. М., 1908. С. 29–30.

⁴³ Стасов Д.В. Каракозовский процесс (Некоторые сведения и воспоминания) // Бюллетень. 1906. № 4. С. 289.

⁴⁴ Но не все в кружке собирались поступать в пределах наследственной законности, как Ермолов. Был, к примеру, там дворянин, лет 18–20 Виктор Федосеев, который уже добыл яд и отправился в родное поместье Кирсановку Тамбовской губернии с целью отравить своего отца, получить состояние и отдать его на деятельность кружка, но был вовремя арестован. Когда на следствии министр юстиции спросил его, кто подал ему такую мысль, тот гордо ответил: «Никто, я сам!» История, которая так и просится на перо Достоевского! Нарочно не придумаешь такую

женного юношу⁴⁵, и объясняет он это тем, что порвать упрочившиеся к этому времени связи и отношения в кружке было чрезвычайно трудно, почти невозможно.

Кстати, год назад Николай Федорович вступал в сношения еще с двумя членами иштутинского кружка – Дмитрием Юрасовым и Михаилом Загибаловым⁴⁶, и когда после покушения 4 апреля 1866 года (первого выстрела в царя, прозвучавшего в России) был арестован 28 апреля Петерсон как бывший активный член кружка, вскоре задержали и Федорова как близкого знакомого Петерсона. В своих показаниях, ныне хранящихся в Центральном историческом архиве г. Москвы, Николай Федорович крайне сдержан и краток: ни слова о настоящих родителях, о своем учении – только по делу. Он говорит о своем неприятии революционно-нигилистического направления, высказывает убеждение в «безнравственности всякой революции»⁴⁷ и завершает признанием: «Я всегда был против известного иезуитского правила, что цель оправдывает средства и горячо противодействовал умствованиям многих, утверждавших противное»⁴⁸. Петерсон, по его словам, думает так же. В своих ответах на вопросы следствия Николай Павлович независимо от Федорова, подтверждает это, но с важной поправкой: именно Федоров изменил его взгляды, помог ему «отстать от убеждений, почерпнутых <...> из чтения Современника и Русского слова»⁴⁹, утвердил его в мысли, «что дурными средствами нельзя достигнуть никакой другой цели, кроме дурной»⁵⁰. Правда, в отличие от Федорова, в своих достаточно пространственных показаниях Петерсон излагает

«притчу», такую показательную полярность моральных принципов недавних товарищей Петерсона и нравственного долга в учении о «воскрешении отцов»!

⁴⁵ Сам Ермолов на следствии показывал так: «...Я был приглашен Петерсоном в Бронницы провести несколько времени и поличиться. У него я познакомился с Федоровым. У меня был с ним спор. Он высказывал ту мысль, что не действовать революционным путем и что социализм еще не может повести к благу, так как не доказано, чтобы он был самой лучшей организацией общества и что нужно людям заниматься наукой для отыскания настоящей истины. Я оспаривал его и защищал социализм и революцию. Петерсон был на стороне Федорова» (Цит. по: Д., 231). Из показаний Петерсона по поводу этого эпизода выясняется, что он, надеясь на благотворное влияние Федорова на Ермолова, специально заезжал за Николаем Федоровичем в Москву, где тот «проживал тогда <...> у своей сестры Полтанцевой» (Там же).

⁴⁶ Загибалов рассказывал на следствии: «...весной 1864 года, проездом из Москвы в деревню, я заезжал к нему (Петерсону. – С.С.) с Юрасовым. Пробыл я у него 2 дня и в это время виделся и познакомился с Учителем Богородского Училища Федоровым, к которому, после прогулки, мы зашли пить чай, причем имели разговор философского содержания: именно – насчет учения идеалистов и материалистов <...> Говорили еще об ходе образования в существующих заведениях...» (Цит. по: Д., 230).

⁴⁷ ЦИАМ, ф. 16, оп. 57, д. 143, л. 18. Выражаю благодарность ногинскому краеведу Е. Н. Маслову, обнаружившему эти показания и предоставившему мне возможность ознакомиться с ними.

⁴⁸ Там же, л. 24.

⁴⁹ Дело Московской следственной комиссии об учителе Бронницкого уездного училища Николае Петерсоне // ГАРФ, ф. 272, оп. 1, д. 21, л. 50 об.

⁵⁰ Там же, л. 56 об.

и свое новое философское видение, вдохновленное беседами с Федоровым (о чем он здесь умалчивает): «жизнь по Евангелию и знание – вот единственные пути, которые приведут нас в царство Божие»³¹. Излагает, впрочем, с характерным собственным склонением, утверждая, что «нет другого разумного существа в мире, кроме человека и понятие людей о Боге – не что иное, как тот идеал, к которому люди со временем должны прийти»³². Спустя почти пятьдесят лет в письме к В. А. Кожевникову от 13 марта 1905 года Петерсон признается: «...в своих показаниях я излагал тогда учение Николая Федоровича так, как я его тогда понимал, но понимал я его тогда весьма несовершенно и даже нечестиво, я представлял его себе тогда воскрешением без Бога силами одного человека»³³.

В том же письме содержится интересное дополнение к эпизоду ареста Федорова и Петерсона: «Оба мы были допрашиваемы Комиссией, учрежденною тогда в Москве под председательством генерал-губернатора В. А. Долгорукова. Николай Федорович возбудил в членах Комиссии глубокое к себе почтение, что отразилось в благожелательстве и ко мне, и это до такой степени, что на другой год по окончании этого дела я и Николай Федорович давали уроки детям одного из членов Комиссии Михайловского»³⁴.

Уже через три недели после ареста Николай Федорович был отпущен на свободу за отсутствием вины, а Петерсон был осужден на 6 месяцев Петропавловской крепости, включая и время пребывания под арестом и следствием. Освобожден он был 2 декабря 1866 года и переехал в Москву, где жил уроками, перепиской, всякого рода случайными заработками. Уже Страстную неделю и Пасху 1867 года он провел у Николая Федоровича на его новом месте жительства и работы – в Боровске Калужской губернии, где последний находился с конца ноября 1866 года. Тут же, в конце апреля 1867 года, и Федоров подал прошение об увольнении из Боровского уездного училища «по расстроенному здоровью»³⁵ и двинулся вслед за учеником в Москву, проделав весь путь пешком, причем «не пропускал ни одного ручейка и речушки, чтобы не искупаться в них, а купаться он так любил до конца жизни», – отмечает Петерсон в своих воспоминаниях³⁶. Открывался главный период жизни и деятельности Федорова – московский.

³¹ Дело Московской следственной комиссии об учителе Бронницкого уездного училища Николае Петерсоне // ГАРФ, ф. 272, оп. 1, д. 21, л. 62–62 об.

³² Там же, л. 62

³³ НИОР РГБ, ф. 657, к. 10, ед. хр. 25, л. 15–15 об.

³⁴ Там же, л. 15.

³⁵ Румянцевский аттестат Н. Ф. Федорова // Начала. 1993. № 1. С. 149.

³⁶ Петерсон Н. П. Николай Федорович Федоров и его «Философия общего дела» // НИОР РГБ, ф. 657, к. 5, ед. хр. 7, л. 6.